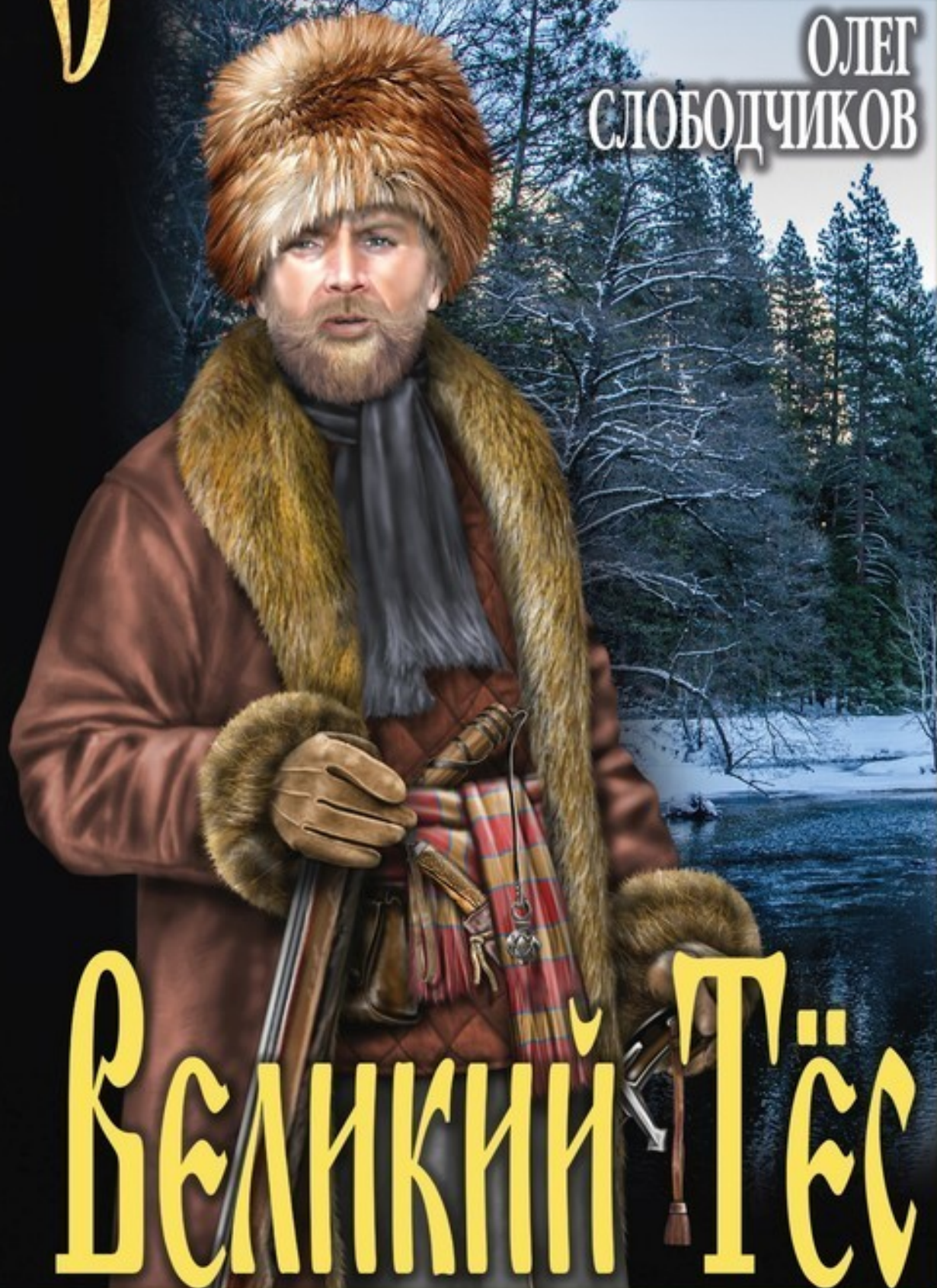


СИБИРИАДА

ОЛЕГ
СЛОБОДЧИКОВ

ВЕЛИКИЙ ТЁС



Сибириада

Олег Слободчиков

Великий Тёс

«ВЕЧЕ»

2017

Слободчиков О. В.

Великий Тёс / О. В. Слободчиков — «ВЕЧЕ»,
2017 — (Сибириада)

ISBN 978-5-4444-6026-9

Первая половина XVII века. Русские первопроходцы – служилые люди, торговцы, авантюристы, промысловики – неустрашимо и неукротимо продолжают осваивать открывшиеся им бескрайние просторы Сибири. «Великий Тёс» – это захватывающее дух повествование о енисейских казаках, стрельцах, детях боярских, дворянах, которые отправлялись в глубь незнакомой земли, не зная, что их ждет и вернуться ли они к родному очагу, к семье и детям.

ISBN 978-5-4444-6026-9

© Слободчиков О. В., 2017

© ВЕЧЕ, 2017

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	39
Глава 3	70
Глава 4	103
Конец ознакомительного фрагмента.	117

Олег Слободчиков

Великий Тёс

© Слободчиков О.В., 2017

© ООО «Издательство «Вече», 2017

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017

Сайт издательства www.veche.ru

Глава 1

Бог знает, какие люди первыми селились в местах старых русских городов: ищущие рая земного или спасения души? Еще в благополучные времена царя Федора появился на Енисее инок Тимофей Иванов. Неведомо, как он оказался на месте нынешнего Енисейска, не дошли до нас слухи и о том, почему не стал, как все, промышлять ценную пушнину или торговать. В 1595 году он построил келью на берегу великой и малоизвестной тогда сибирской реки, ловил рыбу, питался травами и кореньями, пророчил, будто там суждено быть славному городу, а на месте его кельи – монастырю.

Задолго до прихода первых строителей отшельник знал, что город начнут рубить не торговые и промышленные, а служилые люди и по указу русского царя. Но скрыто было от него, когда это случится. Двадцать шесть лет ждал инок Тимофей первых строителей Енисейского острога. Монастырь Всемиловейшего Спаса, являвшийся ему в видениях среди дремучей тайги, был заложен лишь через пятьдесят лет после основания пустоши. Это пророчество сбылось после кончины старца.

Помяни, Господи, всех стратотерпцев, положивших начало Русской Сибири!

Десять казаков тянули вверх по Оби три струга с рожью. Все они были посланы из Сургута на службы в Енисейский острог. Кони яростно хлестали себя хвостами по бокам, мотали головами, отбиваясь от гнуса, по брюхо вязли в трясине топкого берега. Равнинная река была мутна и спокойна.

– А подналяжем! – зычно орал Ивашка Похабов. Он шел первым. Не под уздцы, а за гуж, как пристяжной, тянул струг наравне с конем. Его кожаные штаны и рубаха были обляпаны грязью, раскисшие, сползшие к щиколоткам бахилы при каждом шаге гулко шлепали и чавкали. Но молодой казак был весел и горланил на всю реку: – Да потянем! Да порадуемся, что течение небыстрое...

В отряде он один был из вольных донских казаков, сосланных в Сибирь за кремлевский бунт. Шли бурлаками еще двое ссыльных: плененный под Москвой европеец Ермес и конокрад Якунька Сорокин. Брат его Михейка был беглым посадским из Москвы. Остальные – сибирские казачьи дети из Тобольска и Сургута.

Рослый, кряжистый, сильный, как жеребец, ловкий, как кот, Ивашка Похабов если входил в раж, то работал за троих, изматывая других служилых. По глупости да по молодости не понимал, что не всем Бог дал столько сил.

Десятский, Максим Перфильев, то и дело осаживал товарища. Иван слушался его, хоть был немного старше по годам, а по воинской жизни опытней. Казака по-детски восхищал ум десятского, успевшего послужить даже за подьячего. Иван с Максимом, Ермес да Филипп Михалев возвращались в Енисейский острог после прошлогодней перемены. На этот раз они шли не на год, как прежде, а на постоянную службу, в разрядные енисейские оклады.

Сургутский казак Филипп Михалев был старше Ивана лет на десять. Он строил первый Кетский острог еще до Великой смуты и теперь шел в страну Енисею в четвертый раз, вез за собой из Сургутского острога жену и двух малолетних сыновей.

Благословением первого тобольского архиепископа Киприана с отрядом казаков были посланы на Енисей три инокини. Ожидая их по указу из Тобольска, отряд задержался в Сургутском почти на месяц. За старшую среди монахинь почиталась Параскева Племянникова из Нижнего Новгорода. Две ее спутницы, Марина и Вера, были пугливыми тобольскими девками из посада за Кошелевым валом.

Когда отряд выходил из Сургутского острога, казаки были доброжелательны к инокиням, хоть и ругали их между собой за задержку. Якунька Сорокин – «красавец» с рваными ноздрями, резаным ухом и отрубленным мизинцем – сперва показывал большую охоту к духовным

беседам. Но отряд старался нагнать упущенное время, люди выбивались из сил, через пару недель каждодневных тягот, сырости и гнуса, то и дело возникавших из-за монахинь неудобств стал зол на них и Якунька.

Тоболячки плотно укрывали лица платками, не вступали в разговоры с мужчинами, смущенно опускали глаза, если кто-то приближался. И только Параскева не прятала светлого лица. Глаза ее так ласково лучились самоцветами, что у Ивана обмирала душа, когда она заговаривала с ним. Спрашивала обычно монахиня о Енисейском остроге и о старце Тимофее.

Боясь ненароком обидеть ее, Иван, бывало, подолгу мычал, подбирая в голове осторожные слова, но вскоре освоился, сперва тайком, а потом откровенно, как ребенок, стал пялиться на инокиню, любоваться ею. Она же ахала и умилялась его рассказам о старце Тимофее.

– Кто-то же благословил его? – восклицала крестясь. – Или сам Господь умудрил? – невесть кого спрашивая, она глядела на Ивана голубыми, небесного цвета глазами.

От этих глаз на душе у казака делалось так радостно, что он начинал дурачиться и шалить. То запевал раскатистым басом, то налегал дюжим плечом на конский круп, да так, что выталкивал из трясины послушную и измотанную лошадку. Та, прядая ушами, удивленно косила на него круглым утомленным глазом.

Вечерами по просьбе инокини он часто говорил о старце что знал. На этот раз вспоминал, что с ранней весны до поздней осени тот ходит босой и все плачет. И плачет не о своей нужде, а от жалости к людям. Глянет на иного промышленного или служилого – и слезы бегут по его щекам...

– Ладно разут, раздет, – сам простодушно удивлялся, рассказывая, – волосяную рубаху носит и вериги!

Обласканный вниманием инокинь, он начинал посмеиваться над Тимофеем, чем приводил их в смущение. Бывало, и хохотал, задрав бороду:

– А по нужде за версту от кельи ходит!.. – Умолкал вдруг на полуслове, спохватываясь и переходил на другое: – А при ските у него вкладчики: бывшие промышленные, служилые, старики и калеки. Чудно. При нем все состарились в тайге, а Тимофею хоть бы... – едва успел проглотить последнее восклицание.

Сам Иван то и дело смущался, ерзал и краснел, не зная, как рассказать строгим монахиням, что слышал и что знает. Но стоило ему попасть под чарованье голубых глаз Параскевы, слова сами собой слетали с языка.

– Чудной он! Все наперед знает. При мне как-то приказный в съезжей избе обмолвился, надо, дескать, к старцу сходить, спросить. А тот, как на помеле, прости господи, уже возле двери крестится и спрашивает: «Что за нужда во мне?» Только вспомнишь про него, он тут как тут! А зацепится, бывает, веригами или волосянкой за сучок и орет, бедный! То, что всякий юнец понимает, ему на ум не приходит... Вот такой он, Тимофей!

Невеликим своим умишком понимал Иван: мерин – не жеребец, монахиня – не девка, и ласкова с ним Параскева совсем не потому, что он ей приглянулся, просто больше ей поговорить было не с кем. От лютеранина Ермеса с его заморскими ужимками она открещивалась. Филька Михалев, по грехам, сам шархался от монахинь, десятский Перфильев был вечно занят заботами каравана, отвечал настороженно, опасливо и вдумчиво. Михейка Сорокин, оказавшись рядом с ними, то ли от испуга, то ли от волнения багровел, надувал щеки, потел и сопел. Другие казаки так обыденно срамословили и охальничали, что монахини убегали от них, зажав уши.

Холодными утренниками, в начале августа, повеяло осенью. А отряд к этому времени не прошел и половины пути до верховий Кети. Оттого все спешили больше прежнего, надрывались на бурлацкой бечеве. Иной раз к ночи кони и люди еле держались на ногах.

Казаки ругались, когда подпирало. Заслышав ругань, монахини пели, чтобы Богородица не услышала грубых слов, не заткнула бы свои пречистые уши и не лишила всех идущих благодати. Чем громче срамословили казаки, тем громче разносились над рекой молитвы.

Кашеварила в пути жена Филиппа Михалева, умученная переходом и детьми. Инокини пекли хлеб, то и дело хватались за непосильную работу. Но даже при самом легком деле – вести коней под уздцы – их поневы были мокры до пояса. Иван да Максим как могли оберегали бедных скитниц. Похабов в тяготах пути так сблизился с Параскевой, до того осмелел с ней, что однажды ненароком признался в тайных помыслах:

– Такие девки! Красивые, ласковые, работающие. Могли бы трех казаков сделать счастливыми. Детей родили бы... – жалостливо взглянул на мокрых, обляпанных грязью монахинь.

Спыхватился, подумал, что обидел их: вылетело слово – не воротишь. Но Параскева ответила ему с дымкой печали в усталых глазах:

– Если бы не призвание к Господу, была бы я в женах, Иванушка, такой стервой, тебе бы со мной белый свет стал не мил, прости господи. Уж я-то себя знаю!

Не осудила, не обиделась на сказанное, но будто отрубил казак гниющий палец. Больно. Но вскоре сердечная тоска унялась, а рана стала заживать. С тех пор разговаривать с Параскевой Ивану стало проще и легче.

На Парашку-грязнуху не бывает сухо. Над стылой рекой и топкими берегами Оби клубился редкий, прозрачный туман. Течение мутной воды почти не примечалось. Бусило низкое, хмурое небо. Стужа прибила вездесущий гнус. Зябкая сырость оседала на обветренных лицах путников, просачивалась под вывернутые парки и шубные кафтаны. А над головами людей курился пар. Бус то и дело просекали мелкие, колкие снежинки.

Не успели они дойти водой не только в верховья Кети, но и до ее устья. Бывалые казаки узнавали дельту, окрестности Кетского острога, а самого его все не было видно. В такую погоду легче двигаться, чем ночевать без крова и костра. Пуще всего Ивану жаль было михалевскую женку, детей и девок, хоть бы в иноческом чине.

За одним протоком следовал другой. А вдали виднелся только промозглый кустарник и чахлый березняк. Казаки в мокрой одежде громко и яростно срамословили, не стесняясь монахинь. Те из последних сил, со слезами, пели. А на низком темном небе не было ни лучика, ни отблеска.

Служильный выкрест Ермес-Иван едва волочил ноги, не то чтобы помочь коню, сам то и дело зависал на нем. Якунька Сорокин, погоняя его, матерно бранил всех еретиков и выкрестов, поносил здешних леших с водяными. Ермес в ответ бормотал под нос латинянскую тарбарщину, а нечисть подсовывала всем под ноги очередную переправу через новую или забытую протоку.

Братья Сорокины, Якунька и Михейка, уже и сами подвывали от бессилия. Илейка, младший брат Максима Перфильева, всхлипывал, не смущаясь слез. Другие насупленно молчали, раздражаясь пением монахинь.

– Э-вон! – вдруг вскрикнул по-русски Ермес, указывая рукой по ходу. – Кетский!

Иван, согнувшись дугой, тащил струг наравне с лошадью, глядел только под ноги. При оклике выпрямился, увидел край затесанного острожного тына. В тот же миг, почуяв дух жилища, стали радостно всхрапывать, прядать ушами кони. Ермес, похваляясь, что первым увидел острог, шепеляво помянул по-русски черта и получил тычок от Якуньки Сорокина. Будто в оправдание, он выругался пристойно, по-латыни.

– Эдак хоть затараторься! – благодушно разрешил Якунька, щерясь на ссыльного равными ноздрями.

Кетский острог на устье притока Оби был построен в 1605 году. Ставился он прямоугольником – восемь с половиной на семнадцать сажень. При трехсаженном стоячем тыне виден был издали.

Первые воеводы Григорий Елизаров да Чаботай Челищев, затем письменный голова Василий Молчанов таскали этот острог с места на место, выскивая сухую возвышенность. Не в один год, так в другой его топило паводками. Вода заливала часовню во имя Святой Троицы и положенные под нее гробы с телами ермаковцев.

При очередном затоплении казаки перетаскивали острог, часовню и мощи на новое место. Винились перед покойными, просили Господа вразумить, где на этой болотистой земле предать друзей надежно и навеки.

Уже в сумерках отряд был замечен с проездной башни. Над острогом взметнулся пороховой гриб холостого залпа. Максим Перфильев отвечать не велел. Все, что могло отсыреть, отсырело и промокло. Ни у кого уже не было сил высечь огонь, раздуть трут и запалить порох в казеннике пищали.

Якунька Сорокин, державшийся последние часы суток одной только бранью, вдруг скис и обругал острожных:

– Ишь, какие глазастые! Нет бы выйти на подмогу.

Кони, люди и струги подползли к черным сваям пристани. Здесь вверх днищем лежали лодки. Дохлыми рыбинами вращались в берег два тяжелых дощаника.

Из избы возле острожной стены к прибывшим степенно вышли трое, по виду торговые люди. За ними, зябко кутаясь в шушуну и шубейки, вывернутые мехом наружу, семенили девки. Из посадских наспех срубленных избенок потянулись бабы. Одна вышла с младенцем на руках. Со скрипом растворились острожные ворота. Под проездной башней показались стрельцы в малиновых шапках. Зевая и крестя рот, последним вышел седобородый приказчик.

– Годовальщики, или че ли? – спросил, щурясь на прибывших казаков.

– Плохо встречаете! – слезно вскрикнул ссыльный Сорокин и с укором оглядел стрельцов.

Приказчик бросил презрительный взгляд на рваные ноздри, на зарубцевавшийся комом хрящ отрезанного уха. Никто не торопился помочь казакам вытянуть струги, принять лошадей. Охая, тяжело выползли на сушу инокини в мокрой одежде. Со слезами на глазах отвесили по низкому поклону на крест часовни. Запели срывавшимися голосами.

– Вон кого принесло! – смахнул шапку старый приказчик. – Что так припозднились-то? – залепетал, оправдываясь. – Завтра встретим по чину. Нынче сушитесь и ночуйте: хотите в остроге, хотите здесь, – кивнул на избы.

– Нам бы поближе к вашим красавицам! – сбил на ухо соболью шапку Максим Перфильев. Как ни был измотан переходом, мокрый, обляпанный грязью, но перед кетскими девками все же пытался блеснуть удалью.

Те, кидая любопытные взгляды на казаков, шумно обступили монахинь, повели их в избу. Максим, придерживая саблю и выпячивая грудь, крикнул вслед:

– К себе нынче не зовите! Придем только после бани. Засмердели в пути, что ведмеди.

Бабы, жены стрельцов, подхватили детей Филиппа, взяли под руки его беззвучно плачущую жену.

– Можем и сейчас баню затопить! К полночи дойдет! – будто из-под полы приказчика, выскочил стрелец с плутоватым лицом. Глаза его беспрестанно бегали по прибывшим. Невысокий, сухошавый, пронырливый, с бритым наголо лицом, он сказал про баню и пропал. Через миг выскочил из-за другого плеча приказчика, начальственно встал впереди трех стрельцов, разглядывая казаков с вертлявым любопытством соболя. – А тебя я запомнил с прошлого года! – насмешливо впился глазами в Ивана.

Тот устало тряхнул головой:

– Упасть бы как есть. Завтра уж и мыться, и париться.

Пока казаки вытаскивали на берег струги, укрывали поклажу кожами, стрельцы увели измученных лошадей и вернулись. С ними опять пришли три любопытные девки, те, что увели

в избу монахинь. Две, напоказ, были в повязках. Одна, кругленькая, конопатенькая, с добрым, ласковым лицом милой сестрицы, другая, высокая и широкоплечая, пугливо глядела на казаков большими коровьими глазами. Ее длинные руки висели метлами и несуразно высывались из коротких рукавов вывернутого тулупа.

Третья, явно девка по стати и по зовущим взглядам, выделялась среди подружек. Голова ее и часть лица были покрыты платком, как у женщины. Для прибывших были открыты только горделивый нос да глаза. Но и того хватало, чтобы заняли молодецкие души. Даже в промозглых сумерках вечера эти глаза светились чудным бирюзовым светом. Под поношенным шушунном угадывалась стройность стана. А глядела она на казаков как-то чуть боком, искоса, что настроженная курица или задиристый петух.

– Мы вам и воды наносим, и натопим! – с готовностью предложила конопатая, не сводя глаз с высокого, широкоплечего Ивана.

– И постираем ношеное! – баском пророкотала ее высокая подруга, переминаясь с ноги на ногу. – С дороги дальней без бани и без ужина никак нельзя!

Приказчик махнул рукой, дескать, сами сговоритесь. Зевнул в бороду. Приволакивая ноги, поплелся к острожным воротам. Следом вкрадчиво засемили стрелец с бритым лицом и Ермес. Максим Перфильев с сожалением крикнул, окинул девок шаловливым взглядом, но как старший в отряде, подался в острог.

Иван отжал, выбил о колено мокрую соболью шапку, нахлобучил ее набекрень, встрепнулся, повел плечами и объявил:

– Коли в Кетском девки так хороши, то и среди ночи париться будем!

Сухощавый стрелец, назвавшийся Василием Черемниновым, безнадежно спросил, нет ли у казаков чего выпить после бани. С пониманием кивнул.

– Поведем в новую избу, что ли? – спросил товарищей. По виду те были братьями: невысокие, сбитые крепыши. Они легко забросили на плечи по мешку с одеялами да по ручной пищали. Василий взял в обе руки по походному котлу. Покачивая ими, повел гостей не к острожным воротам, а в желтевшую свежими венцами, недавно срубленную избу.

– Вихорка да Тренька Савины! – указал глазами на стрельцов с мешками и с ружьями. – Пятеро нас здесь в караулах. Другие, с сотником, на службах по разным местам и на Енисее. А от этой избы баня ближе, – пояснил, почему повел сюда.

Три девки послушно брели следом за стрельцами и казаками. Вместе с ними они вошли в темную, сырую избу. В лица пахло смолой. Под ногами захрустела щепка. Казаки со стрельцами побросали поклажу на лавки. Конопатая девка стала набивать щепой чувал.

– Вы бы, Савина, баню затопили. Ночлег мы сами устроим, – приказал Василий как старший.

Девка, названная Савиной, покладисто кивнула, коlobком покатила к двери. Молодой стрелец, один из братьев Савиных, постучал кремнем по железной полоске, раздул трут. Стал дуть на щепу в чувале. Засветился огонек. Иван тяжело сел, сбросил на земляной пол раскисшие бахилы. Босой, скинул мокрый кафтан и стал стягивать липкую рубаху.

Длинная широкоплечая девка, которую звали Капитолиной, вскоре принесла хлеба и остывшей печеной рыбы. Зычным, теряющимся голосом, по-детски искренне и бесхитростно она отвечала на шутки полураздетых казаков. Большими руками сгребла их мокрые, провонявшие потом и золой рубахи, понесла стирать.

– Невесты! – степенно кивнул им вслед Вихорка Савин. – Купцы привезли нам в жены по царскому указу. По десять рублей рядятся. За каждую! – засопел и в сомнении покачал головой, как пашенный крестьянин на ярмарке.

Брат его, Терентий, обернулся к казакам, пояснил, ожидая поддержки:

– У торговых, что у новокрестов, совести нет. У нас годовой оклад пять рублей. Не мог наш мудрый государь отправить нам невест по такой дороговизне. Брешут, что потратились на содержание.

– Нам бы жалованье по пяти рублей! – завистливо воскликнул Якунька Сорокин. – Даром служим, по принуждению!

– А по мне без жены так и вольней! – беспечально хмыкнул Василий Черемнинов. – Смотрю на женатых – одни хлопоты.

– За хорошую ясырку¹ рублей пятнадцать просят! – тугодумно продолжал рассуждать Вихорка. Васькину насмешку он пропустил мимо ушей как не стоящую внимания глупость. – Было бы на что, я бы женился. Одолжаться боюсь!

Ярко разгорелась смоленая лучина. Загорелись дрова. Изба стала нагреваться. Стрельцы поговорили и ушли. Якунька уже всхрапывал на лавке. Михейка Сорокин спал вниз лицом, так и не скинув с себя мокрой одежды. Иван, подремывая, неохотно вставал, подбрасывал дров в очаг. Тихо вошла Капитолина, развесила возле огня выстиранные рубахи. От девки и от белья пахло рекой. Приметив, что Иван наблюдает за ней, она обернулась, приглушенно прошептала:

– Баня скоро дойдет. Я разбужу! Спи пока!

Так уютно и покойно стало на душе Ивана Похабова, будто отдыхал у любимых и родных, живших семейно. Разве в снах чудился ему такой покой. Ничего похожего в прошлой жизни у него не было. Он блаженно вытянулся на жесткой тесаной лавке и провалился в сон. Очнулся, когда скрипнула дверь, в избу вкатилась запыхавшаяся Савина. Окинула взглядом спавших, взглянула на Ивана. Голосом тихим и ласковым сказала, что каменка дошла до хорошего пара, а вода в котле горяча. Можно мыться.

Иван сел. Толкнул Илейку Перфильева, стал будить Сорокиных. Дранный палачом Якунька сонно пробормотал, чтобы его не трогали, перевернулся на другой бок и сладко зевнул.

Трое вышли из избы полуголыми. Холодная, сырая ночь со свежим запахом снега разогнала сон. Савина принесла два березовых ведра с холодной водой из ручья, бесшумно поставила их у прикрытой банной двери, смущаясь полуобнаженных казаков, ушла во тьму.

Вскоре те захлестались вениками. Стали шумно бултыхаться в ледяном ручье. Хохотали от удовольствия, снова грелись на полке. Послышались шаги в ночи, шорох. Кто-то постучал по кровле.

– Хороша ли водица? – заботливо спросила Савина.

– Хороша! Спасибо, девица! Баня того лучше, – заскоморошничал Михейка Сорокин. – А вот руки у нас корявы. Не можем спин потереть щелоком. Помогла бы, красавица!

Савина фыркнула и стала удаляться. Иван на карачках выполз из банной двери, окликнул:

– Не серчай, девица! Дай бог тебе жениха доброго.

– Ладно уж! – послышался добродушный смешок.

– Ой хороши девки! – забормотал, влезая на полог. – Ой хороши.

Остаток ночи он спал глубоко и легко. Проснулся с радостью на сердце. Помнил из видевшихся снов только чувство тихого, безмятежного счастья. Глядя в тесаный потолок избы, может быть, впервые, он ощутил тоску – не по телесному блуду, а по семейной жизни, которой не знал. Подумал вдруг: «Было бы что заложить, женился бы! Уж больно девки хороши!»

Хороши были все. А перед глазами стояла одна. Глазами и статью – царевна. Голоса ее Иван не слышал. Припоминал, как она в избе скинула тулуп, но голова осталась обмотанной платком. В простеньком сарафане, в душегрее поверх залатанной рубахи, неторопливо и как-то

¹ Ясырка – пленница, раба (сиб.).

неловко она помогала подругам, отвечала на шутки казаков взглядами. Похоже, что и словом не обмолвилась, как немая.

Иван бросал на нее затаенные взгляды и все хотел увидеть губы, которые она прятала. Не мог поверить, что при таких глазах на месте рта дыра или два трухлявых подберезовика.

Казаки еще спали. Иван радостно потягивался. Тихонько вошли давешние девки, затопили очаг, повесили котел на огонь. Капа большими руками щупала сохшую одежду, убирала ее подальше от огня. Девки тихонько шушукались, посмеивались, шебаршили.

Но вот шумно распахнул дверь, вошел давешний стрелец Васька Черемнинов, и в избу хлынул яркий свет. Иван, шурясь, высунул голову из-под шубного кафтана, увидел белый, чистый снег.

– Кто у нас праведный? Кто Господа умолил? – зашумел стрелец. С утра он был уже навеселе. Видно, еще вечером, в остроге, перепала чарка-другая, утром опохмелился. – Не ты же, кур безносый! – шутливо ткнул кулаком Якуньку, притиснул Капу. Та с ревом охнула.

Казаки стали подниматься и надевать просохшую одежду. Степенно вошел в избу старый купец. Сел в сиротском углу, свесив бороду до колен. Казаки зевали, крестили рты.

– Не успели! – крикнул купец, по-хозяйски поглядывая на девок у печи. – Наказанье Господне! Здесь зимовать придется.

– Вам-то что не зимовать? – стал задирать его хмельной Васька Черемнинов. – Ржи полон дощаник, девки под боком. Пиво ставь, хлеб жуй да девок тискай всю зиму.

Светлая, как снег, тоска стала приятно перемежаться с радостью, сладостно томить сердце Ивана. Он поглядывал на глазастую и все думал: не она ли снилась ему?

Шумно вошел мокрый после бани, румяный Максим Перфильев. Иван с ревностью приметил, как засветились бирюзовые глаза. Подружка окликнула глазастую Пелагией. И он мысленно раз и другой повторил про себя это имя.

Она не смотрела на Ивана ни вчера вечером, ни утром: скользила по нему взглядом, как по стене, а вот с Максима не сводила глаз. Похабов завистливо взглянул на товарища: лицом бел и гладок, румяные щеки в кучерявящейся бороде, прямой, тонкий нос, темные брови: молод, красив, свеж, умен, на язык остер и весел. Пока он, Иван, сообразит, что сказать, Максимка уже с три короба набрешет. Вот и теперь Пелагия с Савиной хихикали, Капа гоготала.

Васька Черемнинов потолкался среди разбуженных казаков. С приходом Перфильева он насупился и заскучал, потому что его перестали замечать. Стрелец покуражился сам для себя и ушел. Максимка же гоголем расхаживал по избе, вертелся возле девок. Заговаривал больше с Пелашкой.

– Кабы меня или товарища моего, – кивнул, спохватившись, на Ивана, – да такая красавица поцеловала!

– Целуют под венцом! – пробубнила та сквозь платок. Прищурились веки, залучились бирюзовые глаза, задурманили.

Иван смущенно помалкивал, Максим не мигая таращился на Пелагию, болтал без умолку и завлекал.

– Так пойдем под венец! – приосанился, ближе подступился к девке грудью, так, что та слегка отпрянула.

– Дьяк при остроге прежде был, а нынче помер! – громко и рассудительно объявила Капитолина, будто дело о сватовстве было решено.

Пелагия взглянула на Перфильева с грустинкой, тонкими пальцами развязала узел платка, обнажила лицо. Иван впился взглядом в ее губы. Они были красивы, под стать глазам, и он не сразу заметил коричневое пятно в полщеки, если не больше. В сравнении с тем, чего боялся, это уродство показалось ему пустячным. Не смутило оно и Максима: он с восхищением глядел на губы, будто нацеливался поцеловать.

Не заметив в нем перемены, Пелагия повеселела, неспешно повязала узелок, но уже не так, как прежде: теперь оставались открытыми губы и ровный, круглый подбородок. Чуть открылся любопытным взглядам край пятна на щеке.

Якунька Сорокин, как на торжке, внимательно осмотрел ее щеку и самонадеянно замотал головой, будто Пелагия поглядывала только на него:

– И ты меченая! Взял бы за себя, да двум меченым в доме тесно!

– Ну уж это кто кого метил! – девка блеснула рассерженными глазами и вскинула голову.

Максим, не оборачиваясь к изуродованному палачом казаку, обронил:

– Чья бы собака рычала.

– Меня – палач, а ее. Не к месту будь помянут! – набожно возвел глаза к потолку и перекрестился ссыльный. – Я, Христа ради, безвинно принял муки на Москве!

– Безвинно ноздри не рвут! – огрызнулась Пелагия и горделиво скинула платок на плечи.

– Бывает, рвут! – ничуть не смущаясь, стал рассказывать Яков. – Ярмонка была. Иду я. Народу – ни ступить, ни протиснуться. Глядь, жеребец чалый на брюхе лежит. «Лежишь, ну и лежи», – думаю. Хотел переступить. А он как вскочит, как понесет, бешеный. Погоня то отстанет, то догонит. Наконец окружили, схватили за уздцы жеребца. «Спасибо, – говорю, – братцы! Спасли от смерти неминуемой. Только трудами вашими не убился до смерти!» Ага! Поверили? Положили на козла, кнутами спину распустили, ухо отрезали как конокраду, мизинец отрубили как вору. Мало им – ноздри вырвали, в цепях, за приставами² на сибирскую службу привезли. Страдаю во славу Божью!

– Ты Бога-то не поминай всеу! – начальственно выбранил казака Максим. И вдруг спросил, удивляя Ивана: – А что, красавицы, пойдете ли с нами в Енисею венчаться?

Пелагия горделиво передернула плечами. Простодушная Капа оторвалась от квашни, стряхнула тесто с пальцев, плаксиво проревела:

– Коли хорошие люди замуж позовут – отчего не пойти!

Старый купец все помалкивал, все поглядывал из угла, одобрительно потряхивая бородой. Потом хмыкнул, крякнул и молча вышел, чтобы не смущать молодых.

После молитв и завтрака все прибывшие гурьбой отправились в острог, в съезжую избу. Хрустел под ногами свежий снег. Черная река неспешно несла студеные воды на полночь. Дышалось легко и привольно.

– Будто у них из стрельцов женихов нет? – безнадежно пробубнил Иван, едва они с Максимом вышли из избы. Удивлялся разумному товарищу: чего ради возле чужих девок вьется?

– Нет! – весело вскинул на него глаза Максим. – Их попутно с рожью купцы везли в Томский, тамошним казакам в жены. Нынче летом остяки Пегой Орды бунтовали. Нам не встретились, а других грабили от Нарымского до Кетского. Работные бурлаки перепугались, купчишек с товаром бросили. Стрельцы, по слезным просьбам, приволокли их струги сюда, а дальше вести некому. Да и поздно уже.

Искренне удивлялся Иван Похабов: когда только товарищ успел все вызнать. Максим же знай себе посмеивался над недоверчивыми расспросами:

– Заламывают купцы за девок по десять рублей. Говорят, по шести отдали в Тобольском курским купцам. Да потратились, приодели к зиме, кормили в пути. – Максим взглянул на Ивана пристально, вздохнул с тоской: – А ведь хороши девки. Меченка-то – пава! Какие же на Москве невесты, если нам таких шлют?

– Боятся, поди, меченых, – сипло пробубнил Иван, воротя глаза на сторону.

– Понравилась? – весело и пытливо спросил Максим.

– Еще чего? – смущенно вскинулся было Иван. Но, помолчав, согласился: – Хороша!

– А как рассорит нас? – стал смешливо подначивать товарищ.

² За приставами – с охранниками.

– Еще чего! – угрюмо пробубнил Иван. – Добрый казак и за жену против товарища не возропщет. Не то что...

Они поняли друг друга с полуслова. Максим из сургутских сибирских родовых казаков. Иван саблей, кровью и кнутами с малолетства породнился с донскими станицами, вошел в их круг. Оба даже по виду отличались от ссыльных и приверстанных в оклады. Такие, как они, и тонули, и в петлях болтались с удачью. А уж за товарища готовы были идти хоть на плаху.

– Пусть будет промеж нас уговор: кого сама выберет, тот ее и возьмет. А товарищу не вредить! – сказал Максим, глядя на Ивана.

– Да она уже тебя высмотрела! – безнадежно отмахнулся он.

За ручьем курились землянки и балаганы гулящих, три островерхих чума пегих людей³, что пришли сюда укрыться от врагов.

Казак вошел в острог, как в колодец. По углам со стороны реки Оби были срублены две башни. Под ними избы в три потолка. Верха шатровые, крытые тёсом. Третья башня была со стороны Кети. Под ней – съезжая изба. Сверху караульный чердак. Между башнями поставлены острожины. К ним сложены поленицы в рост человека. Теснота требовала порядка. Выпавший за ночь снег был убран.

Седобородый приказчик уже поджидал казаков, сидя в красном углу. Возле него крутился вчерашний стрелец с выбритым лицом. Сгибаясь в низких дверях, енисейцы вошли гурьбой. Смахнули шапки, стали креститься и кланяться на образа. Чинно расселись по лавкам. Приказчик поглядывал на них с печалью и укоризной. Вместо приветственной речи взмолился:

– Уймите своего выкреста! Уши прогудел. Велит челобитную царю послать через тобольских воевод. У меня ни прочесть ее некому, ни отправить не с кем. Писана та челобитная русской речью да латинскими буквами.

– И когда успел настрочить? – удивился Максим. – Поди, Индию под царскую руку подвести сулит? – насмешливо взглянул на Ермеса, сидевшего особняком.

– Балаболит до полуночи. Спать не давал! – возмущенно вскрикнул стрелец. – Дай, дескать, ему рейтар да пушек, да денег.

– Грозил государевым словом и делом⁴, а где приставов взять? – стал оправдываться старый приказчик. – Караульных – и тех не хватает. Все на службах. Вот Васька Колесников, с ночи еще не спал, но печь для вас натопил, – с благодарностью кивнул на проворного стрельца.

Тот, польщенный похвалой, с важностью добавил к сказанному старым приказчиком:

– Нынче тунгусы через Енисей переправляются, остяков воюют. Грозят Кетский острог разорить. Как лед встанет – хуже будет.

– А ты его в Томский отправь! – посоветовал Максим. – Там грамотных много, и заплечник⁵ искусный. Прочтут и разберутся.

– Было бы с кем, – проворчал приказчик, успокаиваясь. – Енисейский воевода ждет вас не дождется. Той ржи, что была доставлена ему по воде в Маковский острог, тамошним служилым мало. А у меня ее хранить негде. Амбары подгнили и полны. По льду теперь всю зиму возить придется.

– Не наша вина! – загалдели казаки. – Месяц ждали инокинь. Без них воевода не пускал.

– И рожь есть, и кони, – продолжал жаловаться приказчик. – А сани старые, разбитые, придется вам самим делать их. Моим людям некогда. На коня по пятнадцать пудов грузить, не больше. Конь – не человек, он от натуги помереть может. А вам за зиму надо успеть две ходки сделать, – пытливо оглядел казаков. – А то и больше.

³ Пегие люди – селькупы.

⁴ Государево слово и дело – форма объявления дела государственной важности, по которому объявившего требовалось доставить в Москву.

⁵ Заплечник – палач.

– Коней мало – сам впрягайся в гуж! – насмешливо поддакнул приказному проворный стрелец. Хохотнул: – А еще бы девок взяли у купцов и запрягли бы их вместо жеребушек.

– Все плачутся! – неприязненно вспомнил приказный о торговых людях. – Вам бы правда у них рожь взять да девок. Если летом продадите ту рожь промышленным людям, то девки, считай, даром достанутся.

– Сторговались бы, – весело согласился с приказчиком Максим, – если бы на нас были шубы собольи, а то ведь только шапки! – выразительно взглянул на приказчика.

Тот понял намек, замахал руками:

– Одолжить мне вас нечем!

Максим заерзал на лавке.

– Девки без ржи, а рожь без девок купцы не отдадут! – хитроумно заюлил перед старым приказчиком. – Даже если наполовину – заплатить нам нечем. Вся надежда на тебя, батька! Давно ведь сидишь на приказе, припас себе соболишек и серебра скопил на черный день?

Бритый стрелец, Васька Колесников, стал бросать на старика опасливые и виноватые взгляды: может быть, зря обмолвился про девок?

– Я старый, – со вздохом согласился приказный и свесил седую голову, покрытую шапкой из черных с проседью собольих спинок. – Каждый день помереть могу! Богатство туда не прихватишь! – С тоской возвел глаза к низкому потолку. Язвительно усмехнулся: – Но на вас долг может остаться, а на мне – грех: сказано, через кого соблазны – тому лучше не родиться!

– Отдадим на помин души, – загалдели казаки. – Не возьмем греха на душу!

– А соблазны? – беззубо ухмыльнулся старик. – Вот и наплюет мне ангел в глаза за добро мое, что подстрекал ко греху!

Васька Колесников по-куньи бросал взгляды на споривших, настороженно прислушивался и помалкивал. Максим же и так и эдак раззадоривал приказчика, пока не понял: не даст он денег в долг. Разве под кабалу?

– Под кабалу дам рухляди на десять рублей до Святой Троицы без роста, а после гривеник с рубля. Но только на тебя, – ткнул пальцем в Максима. – Твоего отца знал. Родня у тебя в Сургутском. Или на него, – ткнул перстом в сторону равнодушно помалкивавшего Филиппа Михалева. – Родни много. Брат на пашне в Туруханском. А безродным да пришлым не дам!

Михалев с недоумением поднял на приказчика потухшие глаза женатого человека, пожал плечами:

– Мне-то кабала на кой?

Казаки вышли из острога, беззлобно поругивая старого скупца, посмеивались: без покупной ржи можно обойтись, а девки достанутся только троим. Пуще всех насмеялся, оправдываясь перед товарищами, раззадоренный Филипп:

– Мне с Ермесом девки ни к чему, Илейка – молод, Якунька – сувор⁶. Остается на двух казаков по одной невесте.

Иван Похабов принужденно посмеивался вместе со всеми и примечал, что у Максима лицо было совсем не смешливым: глаза блестели, лоб морщился. Натужно думал о чем-то десятский. И вдруг спросил Ивана в упор:

– Шапку отдашь?

– И шапку дам, и шебалташ⁷ с золотыми бляхами, – провел рукой по пряжке на поясе. – Ужто и вправду думаешь сторговаться?

Жаль было шапки. Первый год Иван был покрыт дорогими собольями. С тех пор как начал службу, где по бедности, а больше напоказ, ходил на донской манер в драном кафтане и суконном колпаке, но при дорогом оружии.

⁶ Сувор – изуродованный (русск., устар.).

⁷ Шебалташ – ремень, которым опоясывались поверх ремней сабли и патронной сумки.

Тягаться с Максимом в таком деле, как сватовство, он и не думал. С сердечной тоской уступал товарищу приглянувшуюся девку. Отказать же ему в помощи не мог, хоть бы и себе в убыток. Что шапка, если десятский готов был дать на себя кабалу?

Работы при остроге было много. Только денек и погуляли казаки. На другой сошел снег, пригрело осеннее солнце, обманно запахло весной. Иван тесал жерди на оглобли. Сорокины в котлах вываривали и гнули полозья для саней. Заняты были все. Дела не мешали казакам поглядывать на стрелецких жен да на купеческих девок. С инокинями и с теми они добродушно шутили, не помяная былого.

Увидел Иван Пелагию в другой раз – и обомлел пуще, чем при первой встрече. Она показала ему еще краше. Вроде бы простился с ней в душе, отдал товарищу без соперничества, а сердце колотилось о ребра, будто хотело выскочить из груди.

Она только вскользь окинула его бирюзовыми глазами, и он понял вдруг, что все прежние зазнобы, даже инокиня Параскева, нравились ему лишь потому, что были похожи на эту самую Пелашку-Меченку. Он о том слова никому не сказал, думал, что виду не подал, но услышал за плечом тихий и ласковый голос:

– Любуешься!

Вздрогнул, обернулся – Савина, конопатенькая, кругленькая, как колобок, глядела на него печальными и добрыми глазами. Они только и запоминались ему на ее простецком лице. Да еще голос.

– Кем? – скинул голову Иван, скрывая смущение.

– Красивая она! – взглянула вслед подружке Савина. – Я, хоть и девка, а в бане, бывает, глаз отвести не могу. Сделал же Бог для кого-то такую красоту. Не мне чета, – простодушно вздохнула и перевела на Ивана печальные глаза.

Уже этого взгляда хватало, чтобы понять, что он ей приглянулся. И она ему нравилась. Легко с ней было и просто. Будь у него такая сестра, наверное, сильно любил бы ее и оберегал.

– С чего взяла, что сама неказиста? – грубовато проворчал, снова принимаясь за жердь. – Очень даже пригожа! – Хохотнул принужденно: – Вон Капа – да! Не девка, кобыла!

– Она хорошая, – вспыхнула от случайной похвалы Савина и смущенно оглянулась на подружку. – Попадется ей добрый муж, век счастливым будет.

Яростно зазвенел топор. Иван сжал зубы, молча и усердно заработал, будто срывал злость на жердине. Савина нелепо топталась рядом, ждала чего-то. Дождалась-таки, когда Иван снова взглянет на нее.

– А меня Вихорка Савин сватает! – пролепетала виновато. – Все шутит: «Савин да Савина – одна чертовщина!» Прости, Господи! – опасливо оглянулась на монахинь.

– Стрелец? – равнодушно спросил Иван. Глаза его презрительно блеснули, он желчно ухмыльнулся в бороду. – Кафтан у него новый. А в кармане блоха на аркане. Этот кабалы на себя не даст!

Савина обиженно опустила голову. Захлопала длинными ресницами, с которых готовы были сорваться слезы. Иван устыдился, что обидел ее ни за что, пробурчал, оправдываясь:

– Присушила Максимку ваша Пелашка. Даст Бог, всех вас у купцов выкупим.

Савина не поднимала затуманившихся глаз и не уходила прочь. Иван спросил мягче:

– Тебя-то как занесло в Сибирь?

– Сирота я! – вздохнула она, справляясь с обидой. Как у ребенка, сквозь слезы уже блеснули глаза. – Жила в семье брата, нянчила детей. Женихов-то повыбили, а я некрасивая, – напомнила упрямо. – Брат помер. Жена его года не вдовела, вышла за хромого. Тот повадился ко мне, к перестарке, приставать. Братаниха заметила, стала меня со свету сживать. Думаю, хоть бы за какого старого, за бедного или покалеченного пойти. Лишь бы человек был добрый. Да жить бы своим домом. Тут купцы в Сибирь собрались, стали звать девок-перестарок в жены сибирским казакам. Вот и поехала.

– Правильно сделала, – одобрил Иван. – Будет у тебя и дом, и муж. С голоду не помрешь, а разбогатеть можешь. А Вихорка – служилый, при государевом жалованье. С ним не пропадешь. Савина вздохнула и опустила печальные глаза.

Едва встали реки и лед сковал топкие берега Оби, купцы забеспокоились пуше прежнего, сбавили цены на рожь и за содержание девок. Кетский приказчик по настойчивым просьбам казаков уже соглашался дать двадцать рублей рухлядью, но только под кабальную запись на Перфильева.

– Сто пудов по двадцать копеек возьмем – двадцать рублей! – считал Максимка. – Летом промышленным продадим по полтине – пятьдесят рублей. Все расходы покроются! Еще и прибыль будет.

Казак Михейка Сорокин, в хороших сапогах, молодецки вытягивался и примерялся к Капитолине. Товарищи уверяли его, что на высоком каблуке он никак не ниже ее! Братья Сорокины готовы были снять с себя все меха в уплату за выкуп девки, недостающее при верных свидетелях соглашались объявить своим долгом Максиму Перфильеву.

Стрелец Вихорка Савин сватался к Савине. Они с братом Терентием отдавали за нее купцам всю рухлядь, что была у них на одежде и в запасе, занимали недостающее где-то на стороне. Рожь, без которой купцы не отдавали девок, Максим брал на себя, для своей прибыли и на свой риск.

Предстоял торг. Женихи, сочувствующие им казаки и стрельцы позвали купцов, чтобы верно оценить собранное добро. Торговые люди перебрали, перещупали шапки. При низком солнце осмотрели меха, данные приказчиком под кабалу. Старый купец взялся было за шебалташ. Осторожно, как змею, поднял его за сыромятную кожу, опасливо осмотрел пряжку.

Хитроумной зацепкой она складывалась из двух личин. На одной была изображена голова бородатого воина в островерхом шлеме, на другой – круглая, щекастая голова степняка. Непомерно большая рука, сжатая в кулак, держала ее за косу. Глаза воина были широко раскрыты, а степняк так щурился, что походил на мертвеца.

Заметив поразительное сходство остроголовой личины с лицом Ивана Похабова, купец метнул на него испуганный взгляд и брезгливо отбросил опояску, вытирая руку о кафтан.

– Не возьму!

– Золото же? – стал напирать Максим, оглядываясь на свидетелей.

– Бесовщина! – рыкнул купец и замотал бородой. Сыновья его разглядывали бляхи и кидали на Ивана боязливые взгляды.

– По весу торгуемся, на золотник по девяносто копеек! – не унимался Максим. – Возьми да расплющи или расплавь!

– Сам расплющи! – огрызнулся старый купец. – А я посмотрю, не отвалятся ли у тебя руки.

Максим не нашелся как возразить и что-то пробурчал под нос. Не хватало двух рублей. И тут пронырливый, гладко выбритый стрелец Василий Колесников с удалством и с шальными глазами бросил на кучу четырех клейменных соболей, которые без споров оценили в три рубля.

– Возьми в залог! – с благодарностью протянул ему опояску Иван.

– Не за что! – весело воскликнул стрелец.

– Дай бог тебе здоровья! – расчувствовался Максим. А Иван одобрительно пророкотал:

– Первый раз среди верстанных стрельцов вижу казака по духу!

Но Василий, выставив вперед ногу в высоком сапоге с гнутым носком, с важностью объявил:

– Я вам не дарю рухлядь. Сам Капу возьму в жены!

– Тьфу на тебя, козел драный! – вскрикнул возмущенный Якунька Сорокин. Напоказ выхватил из рук купца свою шапку. Тот с рассерженным лицом бросил всю кучу рухляди на лавку. Опять не сходилась торг.

Михейка Сорокин тоже схватил свою шапку, нахлобучил ее на голову, с вызовом взглянул на стрельца: дескать, я тебе не пособник, попробуй обойтись без меня. Затем вытащил из кучи пару клейменных лис.

Вихорка Савин насупился. Максим на миг растерялся. Торжествуя, поперечный Колесников достал из-под полы еще пять соболей, связанных бечевой за отверстия глаз. С первого взгляда на них видно было, что плутоватый стрелец выкупает невесту без долга.

– Это мы торговались! – вскрикнул Якунька Сорокин, взывая к свидетелям. – Мы сбили цены с десяти до семи рублей!

– Нет такого закона, чтобы невесту брать за себя неволей! – неуверенно возразил Максим Перфильев. То, что стрелец расплатился полностью, для него было облегчением долга.

Купец стал складывать меха в мешок. Он считал торг законченным. Казаки и стрельцы послали за Капитолиной, привели ее к приказчику растерянную, испуганную.

– Два жениха за тебя спорят! – ласково кивнул ей старик. – Тебе выбирать, кто из них люб.

Высокая девка смутилась пуще прежнего, покраснела. По подсказке стала простодушно разглядывать насупленного Михейку и щеголявшего удалством Василия.

– Со мной не пропадешь! – весело подступал он к ней, по-свойски оглаживая локоть.

– Умен и ловок! – устало поддержал стрельца приказчик.

– Ой, да я и не знаю! – баском залепетала девка. – Был бы человек хороший. Раз берут – надо идти!

– Вот и иди за этого шибздика! – не сдержавшись, крикнул Якунька. – Он тебе по самое ухо вместе с шапкой.

– Зато долг оплатил полностью! – ничуть не смущаясь, стрелец вытянулся струной и выгнул грудь колесом. – Мал, да удал, большой, да дурной!

Братья Сорокины разгневанно хлопнули дверь. К облегчению купцов и Максима с братьями Савиными, торг был закончен.

Вскоре пришли в острог пешими трое стрельцов из Маковского острожка, до которого так и не добрались казаки Перфильева. По указу енисейского воеводы и стрелецкого сотника Поздея Фирсова они плыли по Кети все лето, ставили балаганы, становые избушки с банями, косили сено для зимних обозов. Припозднились и они, не ожидая таких ранних морозов. На последней неделе пути колотили лед шестами и все равно застряли, бросив струг. Верховодил троицей удалой стрелец Михейка Стадухин.

Чуть позже прибыли на устье Кети вестовые казаки из Томского города. Легкую тунгусскую берестяную лодку они волокли по льду. Последние дни также добирались пешком.

Прибывшие с разных сторон стрельцы и казаки передали приказчику отписки⁸ и челобитные⁹, приняли от него грамоты и наказы¹⁰. Приказчик, пользуясь случаем, столкнул на руки томским служилым зловредного Ермеса с его челобитной. И те вскоре ушли в Томск на лыжах с нартой.

Заплатив продажную, покупную, пожилую и отходную пошлины, следом за томскими служилыми, но в другую сторону ушел купец с сыновьями. Двинулись они с опаской, от зимовья к зимовью, вызнавая, где стоят отъезжие караулы да стрелецкие станы.

На Дмитра лед окреп, сытые кони лениво копытили присыпанную снежком прошлогоднюю траву. Сани были нагружены и готовы к переходу. Приказчик в память дедовой недели и своих погибших товарищей выставил бочонок пива. После молитв казаки и стрельцы, бывшие при остроге, собрались за столом, стали поминать всех павших за Святуго Русь.

⁸ Отписки – отчеты.

⁹ Челобитные – прошения.

¹⁰ Наказы – распоряжения начальствующих.

Надо было поторапливаться, пока лед не завалило снегом. Наутро, до рассвета, все острожные жители помогали обозным в сборах. Старшим среди стрельцов по наказной памяти сотника был поставлен разумный и степенный Терентий Савин. Но громче всех кричал и распоряжался прибывший стрелец Михейка Стадухин.

Над чахлыми лесами, над лесными гривами и застывшими болотами забрезжил рассвет. Первый обоз с рожью пошел по Кети. Четырнадцать саней нагрузили так, что кони без помощи людей не могли сорвать их с места. Первыми пошли подводы стрельцов. Михейка Стадухин лучше других знал, где расположены станы, помнил путь среди многочисленных протоков. Терентий не противился, чтобы он налегке шел первым, ощупывая лед лыпой¹¹. Все остальные, по двое, тянули перегруженные сани, помогали коням. Три девки-невесты да три монахини наравне со служилыми волокли и толкали подводы, елозя ичигами по льду.

К вечеру первого дня к Терентию Савину подскочил Васька Колесников с перекошенным лицом и раскричался, тыча пальцем под глаз, где набирал синеву кровоподтек:

– Ты у нас начальник или Михейка? Да кто он такой?

Дюжая Капитолина изо всех сил упиралась в задок саней, натужно кряхтела. Но брошенная Васькой подвода едва двигалась, сдерживая ход других.

– Вечером разберемся! – невозмутимо ответил Терентий. Сам он, как все, помогал коню тащить груз. Молча мотнул головой, указывая, чтобы Василий занял свое место, и обоз продолжил путь.

Вечером возле стана Иван приметил, что резвый, пронырливый стрелец приуныл. Вяizabeth в стрелецкие споры Похабов не желал. Он распряг своего коня и увидел, как возятся с заледеневшей бечевой на хомуте монахини.

– Идите грейтесь! – отеснил их от подводы. На щеках Параскевы висели застывшие льдинки слез. Тяжек был день для инокинь.

Едва Иван выпряг их коня, к нему подскочил Михейка Стадухин, замахнулся лыпой, закричал:

– Куда поставил сани? Не пройти к копне.

И правда, монахини по девичьей неосмотрительности загородили путь. Стрелец в запале не посмел ударить казака, но стегнул лошадь. Ивану этот прыткий тоболяк напоминал вольных казаков, среди которых он вырос. Но здесь казачий обычай был погран. Лошадь с хомутом на шее рванулась из оглобел. Иван не удержал ее, но схватил Михейку за шиворот одной рукой, другой за кушак, молча отшвырнул на сажень, сам взялся за оглобли и отодвинул сани в сторону.

Михейка резво вскочил на ноги, лаял матерно, размахивал лыпой, но на Похабова больше не кидался. В нагретом, дымном балагане Иван заметил, что возле него вертится побитый Васька Колесников. Даже спать укладывался верткий стрелец у него под боком, а не рядом с невестой. И еще показалось Похабову при бликах огня в очаге, что под другим глазом Васьки Колесника темнеет новый синяк.

Обоз двигался от балагана к балагану, от зимовья к зимовью, где стрельцами загодя было накошено и уложено в копны сено. Здесь был припас дров. К ночи уставали все, а Меченка-Пелагия приползала к стану чуть жива, падала на холодные нары и заливалась слезами. Максим как мог помогал ей, а Иван невольно вынужден был сторониться их обоих: от монахинь отдалился, к девкам не прибился.

Удивлялся он сам себе: к кабальной грамоте руку прикладывая, знал наверняка, кому достанется Меченка, но до сих пор одарит она его случайным словом – и ходит он весь день то ли хмельной, то ли шальной. Увидит, как льнет она к Максиму, – заноем заноза в груди, и толкает воз так, что конь едва поспевает переставлять копыта, а игуменья висит на узде.

¹¹ Лыпа – посох с насаженным, заостренным рогом.

Уговорил-таки Иван бедную Параскеву идти с ним в паре, а не со своей подружкой-молеельницей. Но и прежних, душевных разговоров уже не получалось.

На другой неделе и служилые, и девки привыкли к тяготам пути. Невесты укладывались спать отдельно, рядом с монахинями. Они много молились с ними, что больше всех возмущало Колесникова. Сперва смехом, потом с опаской Василий стал корить инокинь.

– Что делаете? – поругивал, кривя стынувшие бритые губы. – Прельщаете наших невест монашеской жизнью?

– Бог призовет – не спросит! – жестко отвечала Параскева.

Васька стал крутиться возле Максима, наговаривать на скитниц и добился своего, убедил Перфильева и Тереха Савина, чтобы те посылали налегке людей к балаганам и зимовьям. Как ни трудно было тянуть подводы, но когда уставшие люди приходили на стан, а в жилье было тепло, в котле напревала каша, сено из копен заложено коням, помалкивали самые крикливые из недовольных.

В это время нападения воинских людей не боялись. Последние годы тунгусы частенько побивали кетских остяков. Защитить себя сами они не могли и были верными ясачниками. О появлении тунгусов и киргизов охотно предупреждали.

Однако в одиночку на станы не ходили. Жалея девок, Вихорка Савин, Колесников да и сам Максим в свой черед уходили с невестами, другие – с инокинями. На следующий день монахини ревниво пытали их – не было ли блуда? Простодушную Капу иной раз доводили до слез. Сорокины злорадствовали, а Васька Колесников безбоязненно ругал монахинь.

Перед очередной избенкой с баней выпал черед идти вперед Максиму Перфильеву. Он виновато взглянул на товарища и взял с собой Меченку, а не брата Илейку: обозу облегчение, десятскому – соблазн, а Ивану – сердечная боль.

После полудня они убежали вперед. Михейка Стадухин давно уже не вышагивал налегке как вож¹², а тянул воз наравне со всеми. Первой подводе по заметному льду двигаться было трудней других, и на этот раз первым шел Иван. Он то толкал сани наравне с конем, то уходил вперед с лыпой и выстукивал лед. Подводу вела Параскева и сочувствующе поглядывала на казака сквозь обметанные куржаком ресницы. Иван работал угрюмо и зло. На закате солнца он что-то недосмотрел, не дослушал пустот под ногами. Когда толкал груженные сани, лед под ним громко треснул, ухнул и провалился.

Студеная вода обожгла тело. Конь на краю полыньи испуганно елозил подковами. Сани стояли наполовину на льду, концами полозьев касались воды. Ноги казака уперлись в твердое дно, вода плескалась под грудью. Илейка Перфильев бросил свою подводу, подскочил к растерявшейся монахине, подхватил коня под уздцы, стал стегать его. Прибежали другие казаки, шумно потянули оседавшие сани. Иван присел в воду по самое горло, поднатужился, взревел, как медведь, и вытолкал их из полыньи. Рожь не намокла. Его самого выволокли на лед. Потоки воды хлынули с одежды.

Надо было разжигать костер, сушиться, а до зимовья с баней – рукой подать. Иван разделся донага. Приплясывая на льду, отжал парку, рубаху, надел сухие ичиги, натянул на тело мокрый мех и побежал. Ладно хоть сермяжная шапка была сухой. Обозные облегченно напутствовали вслед. Никому не хотелось задерживаться на зимней реке до самой ночи.

Когда Иван уловил носом пряный запах дыма, парка уже задеревенела, стертые ею плечи ныли, будто по ним елозила пила. Задыхаясь, он ввалился в протопленную избушку, краем глаз заметил на нарах сплетенные тела. Они резко отпрянули друг от друга.

– Ты кто? – вскричал Максим в потемках и схватился за топор.

Иван припал к огню. Непослушными руками попробовал содрать обледеневшую парку.

¹² Вож – проводник.

Максим, босой, ухватился за ворот, стал сдергивать рукава. Затвердевшая шкура клала, как сухое дерево, и не поддавалась. Перфильев выхватил нож из валявшегося на полу ичига, чиркнул от горла до паха, хрустко разломил парку надвое, содрал с товарища мех, затем помог снять меховые штаны. Иван блаженно распрямился у огня. Ему захотелось влезть в очаг. Он поднял глаза и случайно поймал чудной взгляд Меченки. Впервые она глядела на него прямо, в оба глаза, глядела бесстыдно, восхищенно.

– В баню! – подтолкнул товарища Максим. Иван с сожалением оторвался от очага и, шатаясь, вышел из избы.

Баня нагрелась на славу. Осиновые стены потрескивали от жара. В каменке желтой грудой дотлевали угли. Иван влез на раскаленный полоч и почувствовал, как стужа капля за каплей выжимается из обмороженного до самых кишок тела. Так и лежал, перепачканный сажей. Потел, пока не пришел Максим. Товарищ выгреб угли из каменки, обмел сажу со стен и полка, положил меховое одеяло у двери, чтобы было во что завернуться на выход. Принес ичиги товарища.

– Напугал ты нас, черт косматый. Не ждали так рано. А Пелашку я не позорил, – смущенно оправдался. – Так. Баловались! – стыдливо отвел глаза.

– Мне-то что? – буркнул Иван. – Давно понятно, что твоя! Сама выбрала.

Максим молча посидел на порожке. Вытер взопревший лоб и ушел. В корыте под полком размокали березовые веники. Иван стал париться, рассерженно вышибая из себя остатки остуды.

Когда он шел к избе, завернувшись в одеяло, услышал с реки храп коней, шум приближающегося обоза. Вошел, не глядя на обоих, отдуваясь, прилег на нары.

– Что там мои портки? – спросил.

– Сырые еще! – с готовностью кинулась к очагу Меченка. Обернулась к нему, как обычно, в пол-лица, взглянула искоса. – Ничего блудного промеж нас не было! – всхлипнула.

– Хоть бы и было, никому бы не сказал, – буркнул Иван. Принужденно зевнул, крестя мокрую бороду: – Не мне, грешному, тебе зад дегтем мазать!

Меченка задергалась, как на угольях, стала всхлипывать и бросать на Максима укоризненные взгляды.

Добрался-таки обоз до Маковского острожка. Стрельцы с казаками устроили дневку, отмылись, отдохнули и двинулись дальше, в Енисейский острог. Пришли они к месту уже после Филипповок. Женихи и невесты опечалились: редко какой поп соглашался венчать в пост. А ближе Енисейского даже дьяка не было.

Из острога их обоз был замечен на застывшей равнине Енисея. Служилые и гулящие выбежали встречать, окликали знакомых и земляков, брали коней под уздцы, подвели к глубокому оврагу с застывшей речкой и вытолкали подводы на высокий берег.

У распахнутых ворот острога стрельцов и казаков встречали енисейский воевода Яков Игнатьевич Хрипунов, белый поп Кузьма Артемьев, стрелецкий сотник Поздей Фирсов. Все они были одеты в праздничное цветное платье. Среди них Иван не сразу заметил знакомого скитника Тимофея, самого старого жителя этих мест. В нагольном тулупчике, в ичигах, в монашеской скуфье, он скромно прятался за спинами лучших людей.

– Вон старец! – указал на него монахиням.

Те заголосили. Заливаясь слезами, пали перед Спасом на воротах, затем бросились к скитнику в ноги. Белый поп с медным распятем в руках снисходительно отступил в сторону. Воевода с сотником посторонились, пропуская плачущих монахинь. По щекам смущенного инока потекли слезы.

Возле острога Иван заметил в толпе двух богато одетых мужей. Они походили на торговых людей, но один был в казачьем колпаке, богато обшитом соболями. Оба вертели головами, пристально вглядываясь в лица обозных. Как только разглядел их Иван, так удивленно закричал и замахаля руками.

Те степенно подождали, когда он положит семипоклонный начал на образ над воротами острога, приложится к распятию, откланяется воеводе. После стали тискать его в объятиях. Встреча обоза продолжалась своим чередом. Приняв поклоны от Максима Перфильева и Терентия Савина, воевода велел подьячему пересчитать, а своим людям сложить в государев амбар пятипудовые мешки с рожью, крупой да солью. Обозным разрешил отдыхать, а на другой день приглашал к его скромному воеводскому столу для разговора и соборных молитв.

Товарищ юности по войнам на Руси Пантелей Пенда сдержал-таки верное казачье слово, пусть не в тот год, как обещал, но вернулся в Енисейский острог и привез за собой брата Ивана, Похабова Егория по прозвищу Угрюмка.

– Долгонько шли, – весело журил казака. – Ждали тебя ко Дмитру. Со скуки чуть не померли.

Брат с товарищем повели его в свой балаган, наполовину врытый в глинистый склон за речкой. Над ним курился дымок. У очага на земляном полу сидел новокрест тунгусской породы. Его черные волосы были острижены до плеч. Рубаха на нем меховая, тунгусская, шапка русская. На ногах были высокие сары. В углу меж двух ручных пищалей стояли большой трехслойный клееный тунгусский лук да колчан со стрелами.

– Синеулька медведя добыл, – посмеиваясь, рассказывал Пантелей. – Жир в три пальца нагулян на кедровом орехе. Оскоромисься? – кивнул на черный котел с березовой крышкой. – Мы, грешные, скверним живот.

– Нам, промышленным, когда велит Бог поститься, тогда и постимся. А как дает отдых, так и гуляем! – едва ли не впервые со встречи подал голос брат Угрюмка. А то все молчал и сдержанно улыбался.

Ростом в старшего брата он так и не вышел: недотянул с вершок, но был так же крепок и легок на ноги. Щеки его покрывались все еще юношеской, негустой, стриженной бородой. Усы он тоже стриг. Одевался богато, держался степенно, оттого, наверное, и говорил мало.

Тайга слухами полнится, вестями живет. Как расстались они с Иваном здесь, в Енисейском, зимовали потом в Туруханском, ходили в Мангазею за товарами и рожью. Весной узнали от тамошних казаков, что в Енисейском прежних годовальщиков сменили стрельцы. Летом наняли гулящих людей, пришли сюда со своим припасом для промыслов. Ивана Похабова не застали. Они объявили себя промышленными людьми, заплатили проездную пошлину. Да с хлебного припаса сверх пятнадцати пудов на каждого – десятину. Гулящие люди построили им просторный балаган, утеплили его мхом. В нем можно было зимовать.

Синеулька свой пай мехов с прошлых промыслов прогулял еще в Туруханском зимовье. И теперь он был у Пантелея в покруте¹³. Бывший пятидесятник хопровской станицы уже изрядно устал бездельничать возле острога. Воевода звал его на службу, но он собирался на Лену.

Угрюм рад был встрече с братом. Он был богат, имел мешок клейменной рухляди, мог безбедно зимовать возле острога или построить дом и поверстаться в посад – кое-какому ремеслу среди промышленных он выучился. Мог уйти на промыслы. Верстаться в казачью службу, в судовые плотники или в пашенные крестьяне не желал.

– Посадские легче живут! – рассуждал Иван. Он думал, что теперь брат будет всегда рядом с ним. – Я на службах, ты при остроге. Срубишь хороший дом, женишься, – опустил голову, вспомнив Меченку. – Друг другу помогать станем, как все братья. Глядишь, пустим корни в этом краю. Мне назад уж не вернуться. Да и не к кому возвращаться. Где она, наша родня?

– И не к чему, – смеясь, поддержал товарища Пантелей. Взглянул на его сермяжный малахай, вынул из мешка три добрых клейменных соболя. – Шапку сшей по чину и по заслугам.

¹³ Покрута – наем на содержание пайщика с половины или с третьей части добытого меха.

– Не откажусь взять, – тряхнул мехом Иван. – После посчитаемся. Я ведь в Кетском поручником в кабале записался.

– А вот этого, казак, ни при какой нужде не делай! – строго укорил его Пантелей. – Саблю, шапку и волю береги пуще жизни. На кой она казаку, прости господи, если воли нет?

– Да какая уж тут воля? – усмехнулся Иван и грустно взглянул на бывшего казачьего пятидесятника. Уже появилась в бороде первая проседь, а он все тот же, что был под Москвой. Иван тайком вздохнул, не желая затевать спор. Пояснил: – За друга руку к кабале приложил! Невесту ему выкупали!

Пантелей шевельнул бровями, взглянув на товарища с важностью.

– Я нынче богатый! – самодовольно рассмеялся. – Сколько надо, столько дам.

После прошлогодней перемены казаков стрельцами острог тоже переменялся: со стороны реки, на месте прежних ворот, здесь была срублена проездная башня с часовой. Появилось несколько новых изб за тыном. Острожная церковь Введения во Храм Пресвятой Богородицы была заложена еще при казаках, но на том дело и стало, хотя со стрельцами прислали белого попа с антимином¹⁴. Служилые злословили, что оклад у него больше, чем у стрелецкого пятидесятника, пусть, дескать, сам и строит храм.

За соборным столом у воеводы прибывшие казаки и стрельцы долго молились. Читал что пристало дородный поп Кузьма. За его спиной, кланяясь друг другу, пели инокини с посветлевыми лицами. Смущаясь многолюдья, им подпевал скитник Тимофей. Он клацал веригами и отвечивал поясные поклоны, едва ли не касаясь лбом тесового пола.

На апостола Андрея Первозванного, когда девки гадают на женихов, а парни на невест, стол был накрыт без горячего хлебного вина¹⁵. Рождественский пост не жесток: по случаю воскресенья на столе стояли стерляжья уха, рыбный пирог, квасы, морсы да слабенькое ягодное вино. Прислуживали две ясырки остяцкой породы.

Воевода намекал казакам и стрельцам, что налил бы по чарке-другой чего покрепче, но не при духовных особах, и все поглядывал с опаской на старца Тимофея, жавшегося в сиротском углу. С укором и насмешкой он объявил собравшимся, что получил грамоту от архиепископа Киприана. Сибирский и тобольский владыка благословил основать возле Енисейского острога мужской и женский монастыри для содействия обращению в православие инородцев, для насаждения и поддержания благочестия в народе. Зачитав по памяти наказные слова, воевода наставительно обвел собравшихся пристальным взглядом.

– Молитвами и благословением архиепископа прибывшие инокини положат тому начало. А вы помогите им построить хоть бы небольшой скит. Бог вас наградит по трудам.

Собравшиеся тупо помалкивали и вздыхали. Непонятный приглушенный ропот никак не походил на желание схватиться за топоры в свободное от служб время.

– Не скитаться же бедным меж дворов? – удивленно воззвал к совести обозных воевода. А поп Кузьма осуждающе крикнул и повел бородой.

Был Яков Игнатьевич Хрипунов далеко не молод, с густой проседью в бороде. Он уже не первый год вдовел. Сыновья разъехались. Ему же от прежней жизни остались только царская служба да поздняя малолетняя дочь, в которой души не чаял.

Выспросив о новостях Кетского острога, о пути, Яков Игнатьевич стал сокрушаться о задержке стругов с рожью и солью.

– В Кетском хранить припас негде, а нам без него до Крещения не дотянуть!

Казаки загалдели оправдываясь, и он снисходительно махнул рукой.

¹⁴ Антиминс – платок с изображением Христа во гробе сшитыми в ткань мощами.

¹⁵ Хлебное вино – название водки в XVII веке.

– Все одно всю зиму возить гужом из Маковского и из Кетского. Больше трех дней дать вам отдых не могу. Овса в остроге мало. Коней кормить нечем, – с сочувствием взглянул на Максима Перфильева, и тот свесил кручинную голову.

Когда Иван попросил у Пантелея дать ему в долг соболей на двадцать рублей без торга, чтобы Максиму выкупить кабалу, тот ответил просто:

– Тебя я дождался, теперь не задержусь. Уйду не на один год. Все, что есть, тебе оставлю. Так верней сохранится. А уж ты распорядись, чтобы рухлядь не истлела.

Пантелей прикармливал с десятков гулящих людей, которые пришли на Енисей без гроша, без припаса, в надежде перезимовать возле острога поденными заработками. Из них он высмотрел только двоих, кого мог бы взять в покруту, но и в тех сомневался. Дождавшись товарища, он поговорил, по пьянствовал с ним день-другой и затосковал пуще прежнего. Его душа рвалась в неведомые края.

Новокрест Синеулька то валялся пьяным, то убегал в тайгу. Однажды он вернулся побитым енисейскими остяками. Как всякому тунгусу, ему легче было умереть, чем подолгу жить на одном месте.

Среди вкладчиков скита старца Тимофея Пантелей высмотрел старого, беззубого уже, но знаменитого, по сказам промышленных людей, таежного бродягу по прозвищу Омуть. Промышленные частенько подпаивали старика, выпытывая, что знал о Великом Тёсе. Вызвал и Пантелей, что старый Омуть ходил до братских улусов. Верхнюю Тунгуску он называл по-бурятски Мурэн¹⁶. Рассказывал, как много лет назад, молодым еще, бывал и в этих местах, еще в те поры знал инока Тимофея и думать не думал, что умирать придется в его ските.

В словах старика Пантелей почувствовал знакомую тоску по неведомой земле. Он долго выпрашивал его про тайный тёс в верховья Ангары. Старый промышленный хоть и намаливал себе кончину безболезненную да непостыдную, но томился заболоченным левым берегом Енисея. Душа его рвалась за реку, в тунгусские кочевья, к причудливым скалам, в равнинные братские улусы. Там и смерть казалась ему краше.

Пантелей со стариком понимали друг друга. Их обоих уже несколько не интересовало, хорош ли соболю по Ангаре и Тасею, много ли его. Пенда спешил в верховья Зулхэ-реки¹⁷ и визнавал кратчайший путь.

Западная Сибирь, болотистая и равнинная, была совсем иной, чем земля за Енисеем. Там воевали все и против всех. Маньчжуры теснили китайцев, китайцы теснили монголов. Монголы теснили бурят, бесконечно воевали между собой, с калмыками и с киргизами. Буряты теснили на северо-запад тунгусские племена. Те вытеснили за Енисей кетов. Постоянно переправлялись через реку на быстроходных берестяных лодках, воевали и ясачили, добывая ослабевшие народы, осаждали Маковский острог, грозили Кетскому и Енисейскому. С верховий Енисея поднимались к острогу киргизы и канские тюрки. Все здешние народы и племена кому-то платили дань, с кого-то брали ее или стремились взять. Чтобы отбиваться от одних и покорять других, они обращались за помощью к русским служилым и промышленным людям.

Служилые с большими трудностями проникали в низовья Ангары и верховья Енисея, в Тюлькину землицу. Закрепиться там до поры они не могли. Промышленные же люди на свой страх и риск за десятки лет до строительства Енисейского острога переправлялись через Енисей и расходились по тайге тайными тропами. О том, где были, как ладили с тамошними народами, рассказывали неохотно и смутно. Но государеву десятину с добытого давали, если, конечно, не могли или не хотели обойти острог стороной.

¹⁶ Мурэн – большая река (бур).

¹⁷ Зулхэ-река – Лена (Елеунэ).

Что было там, за Енисеем, на хорошо видимом из острога пологом берегу с дальней гривой хребта? О том Иван Похабов имел смутное представление, хотя служил в этих местах не первый год.

– Неужто в самые холода уйдешь? – удивлялся товарищу, примечая его хлопоты по сборам.

– Холод – не гнус! – беззаботно смеялся Пантелей. – Оденься потеплей или беги побыстрее. Не поможет – костер разведи!

– И ты уйдешь? – с беспокойством спрашивал помалкивавшего брата.

Тот пожимал плечами, вздыхал, разумно и неохотно отвечал:

– Думать надо! Топором махать за прокорм, как гулящие, нет охоты. Кузнецом при посаде я бы остался. Но у вас свой кузнец. Жалованье у него хорошее, а сам он, не мне, самоучке, чета. В судовые плотники поверстаться – разве учеником возьмут, на посылки. Стыдно, – тербил волосы по щекам. – Не юнец уже.

– Хочу – не могу! Могу – не хочу! – злился Иван, боясь обидеть младшего и снова его потерять. – Думай тогда!

Старый вкладчик Михей Омуть, прельстившись посулами Пантелея, ушел из скита и поселился в его балагане. Вечерами все они, впятером, сидели у очага, сложенного из речного камня. Дым уходил через колоду, обмазанную изнутри глиной. Под кровом было тепло и сухо.

Послышались шаги снаружи, дверь распахнулась. С клубами стужи через порог переступил Максим Перфильев в волчьем тулупе. Лицо его было красным, обметанным куржаком по стриженной бороде и усам. Десятский скинул сермяжный малахай, поднял глаза на крест в углу, накосо махнул рукой со лба на живот, с плеча на плечо.

– А, подьячий! – посмеиваясь, ответил на его приветствие Пантелей. – И ты добрую шапку не выслужил?

Максим усмехнулся, оправдываться не стал. Скинул тулуп, придвинулся к очагу.

– Угадал! – блеснул глазами на Пантелея. – Прошлый раз, когда встречались, я за подьячего служил, а теперь воевода зовет разрядным на оклад. Только вот в Кетский сходить надо. – И, обернувшись к Ивану, другим голосом, сокрушенным и отчаянным, пожаловался: – Десять рублей обещают дать без роста до Первого Спаса! Где еще столько же взять – ума не приложу!

В этом был намек на слова Ивана, сказанные у воеводы. Похабов его понял и не стал томить товарища, повторил при всех:

– Пенда дает мне на сохранение свои клейменные меха. А я тебе сколько надо, столько дам. Мешок у него большой, – указал глазами в угол.

Максим не таясь женился с Пелагией. Иванова печаль прошла: отодрал-таки от сердца напрасную присуху. Он уже говорил с ней без смущения, и она стала глядеть на него в оба глаза, только отчего-то опасно и удивленно, хотя Иван ни словом, ни взглядом не напоминал того, что случайно подсмотрел в зимовье на Кети.

– Ух! – тряхнул головой Максим. – Гора с плеч! – взглянул на Пантелея с благодарностью. – Чего это он? – спросил, кивая на Синеульку.

Пьяный тунгус-новокрест сидел в углу, свесив косматую голову, и выставлял в сторону говоривших руку со сложенной дулей.

– С родней все спорит. Мысленно! – как от пустячного, отмахнулся Пантелей. – После промыслов получил свой пай, погулял с недельку, а потом, как умный тунгус, оленей купил, поехал к родне с подарками. Только вскоре вернулся гол как сокол. С тех пор, пьяный, все с родственниками спорит.

Максим удивленно покачал головой, перестал обращать внимание на Синеуля, будто в углу вместо мужика был пень.

– Пелашка-то что удумала? – обиженно сверкнул глазами на Ивана. – Венчать нас в пост поп Кузьма отказывается. Да мне и заплатить нечем. Подруг-то после Рождества под венец

поведут, а ей в невестах ждать надо, когда я из Кетского вернусь. Ревет белугой – оставайся, и все! Ну как я, служилый, останусь, если воевода велит? А с кабалой как быть? Ради нее ведь дал ее на себя! – мотнул стриженной в круг головой. Чистая волна русых волос, еще белевшая по кончикам изморозью, рассыпалась по вороту льняной рубахи.

– Хочешь, чтобы я пошел в Кетский? – спросил Иван.

– Как ты пойдешь, если кабала на мне? – Максим бросил на Ивана рассерженный и туманный взгляд. – Тебя там вокруг пальца обведут. – Он помолчал, глядя на огонь, и горько усмехнулся: – Однако повезло тебе! Девка сильно вздорная. Меня слушать не хочет, – метнул на Ивана затравленный взгляд. – Вдруг тебя послушает? Ты ей скажи: никак нельзя мне не уйти.

– Из меня говорун! – хмыкнул Иван и кивнул на товарища. – Вот Пенда – краснойбай! Захочет, черта уговорит!

Пантелей встrepенулся, с любопытством спросил, о чем речь. Казаки наперебой стали рассказывать, как сватали невест. Пантелей посмеивался, то и дело переспрашивая подробности. Угрюм водил настороженными глазами с одного говорившего на другого.

– Хорошую девку взял бы за себя! Но такая за мной не пойдет! – рассмеялся Пантелей, ощерив зубы в бороде. – А то бы выкупил с прибытком: истомился жить без жены... Все блужу с ясырками да с инородками.

Максим опасно схватил сермяжную шапку, торопливо накинул на плечи тулуп. Пантелей развязал кожаный мешок, вынул связанных в сорока соболей. Потряс их, расправляя.

– Все клейменные. За десять рублей отдашь не торгуясь. А если поторгуешься, то продашь с прибылью, чтобы на свадьбу что-то осталось. Когда сможешь, Ивану долг отдашь, – протянул распушившуюся связку Максиму.

Тот, рассматривая мех, придвинулся к ледышке окна, пощупал мездру.

– Какой залог возьмешь? – спросил вкрадчиво.

– Об этом с Похабой договаривайся.

Иван отмахнулся от взгляда товарища, как от самого пустячного дела. Максим поклонился и вышел. Угрюм тут же завозился в углу, где тихо сидел при госте. Не глядя ни на кого, оделся не в парку, а в суконный кафтан и сапоги, будто собирался идти в церковь. За стенами балагана к ночи приморозило так, что потрескивал лед на реке. Ни слова не говоря, Угрюм вышел и притворил за собой дверь.

Пантелей хохотнул, расправляя пятерней густую бороду:

– Кишками чую, пошел у подьячего невесту отбивать!

От насмешки товарища у Ивана снова заньло под сердцем. Он вздохнул и свесил голову. Пантелей знал Угрюма лучше, чем он, родной брат.

– Выпить что осталось? – спросил хмуро.

Пантелей тряхнул кувшин, грубо слепленный из обожженной глины. Прислушался к плеску.

– Можем еще взять на кружечном дворе. Воевода не велит пьянствовать по избам и по балаганам, но мне дадут.

Невест поселили в келье на месте заложенной острожной церкви. Жили они с инокинями. И тем и другим было тесно. Собирались они под одним кровом только для ночлега, а днем разбегались. Невесты уходили в угловую избу, к казакам и стрельцам, где скопом жили все обозные, варили им кашу, пекли хлеб, стирали. Инокини вели своих добровольных помощников к освященному под скит месту на возвышенности за острожной стеной.

По малолюдству приострожного населения днем калитка в острог не запиралась. Острожный воротник со свободными от караулов стрельцами ходил расчищать место под женский Христо-Рождественский скит. На кураульне маячил стрелец. Примелькавшегося уже промышленного Угрюма в острог запускали без расспросов.

Он прошел под проездной башней, увидел дымок над землянкой посередине острога. Повертелся возле келейки, потопал ногами, покашлял, прислушиваясь к голосам, потом торопливо перекрестился и решительно толкнул дверь.

Вечерело. Жилье освещал горевший очаг. Дым стелился по потолку и уходил в вытяжную дыру. Угрюм наклонился и притворно закашлял, успев разглядеть трех девиц, застигнутых врасплох. Обрадовался, что монахинь здесь нет.

– Молодого, красивого, богатого жениха не ждете? – спросил с удалью в раскрасневшемся от мороза лице.

Приземистая, крепенькая, как горшок-кашник, и длинная девицы вскочили, стали выталкивать его из жилья. Третья испуганно прикрыла ладошкой щеку с большим родимым пятном. Между тем она и промышленный успели пристально оглядеть друг друга. Этого взгляда Угрюму хватило, чтобы оценить невесту Максима. Довольный собой, тихонько посмеиваясь, он выскочил из землянки. «Показался – и ладно», – думал. Девки должны были его запомнить.

Едва рассвело, он снова оделся в кафтан и сапоги. В лихо заломленной собольей шапке приплясывал под яром у реки в виду укрытых на ночь прорубей. Знал наверняка, с утра кто-нибудь из девок пойдет за водой. И не зря ждал. Издали еще он узнал Меченку. Она вышла из острога с коромыслом на плечах с двумя березовыми ведрами на его крючках. Угрюм расправил сведенные стужей плечи, пошел навстречу бойким шагом. Встав фертом на тропе в снегу, заступил ей путь. Девушка остановилась, приткнула платок на щеке, подняла глаза.

– А не помочь ли, красавица? – осклабил выстывшие губы Угрюм.

– Помоги! – покладисто согласилась она.

В том была хитрость, придуманная ночью. Прорубь к утру покрылась льдом. Казаки без крайней нужды сами за водой не ходили. Могла, конечно, прийти девка с женихом, но Бог помог и пришла сама, да еще одна. Угрюм же был не прочь разбить лед и для ее подружки, через которую мог снова войти в келью.

Он принялся долбить лед пешней. Пелагия стояла, переминаясь с ноги на ногу, искоса бросала на него любопытные и смешливые взгляды. Наконец он зачерпнул ведрами воды. Понес их в руках.

– Ты чей? – спросила она, пропустив его вперед. Забросила на плечо легонькое березовое коромысло. Из-под заледеневшего платка вырывались клубы пара от ее дыхания. Бирюзовые глаза были опушены длинными и белыми от инея ресницами.

– Ивана Похабова брательник¹⁸ Егорий, по прозвищу Угрюм! – весело отозвался он. – Промышленный. Небедный. С удачных промыслов. А ты – Пелагия! – обернулся, поймал ее долгий взгляд, от которого радостно затомилось сердце.

Она кивнула и пробормотала:

– Пойду позади. А ты иди!

– Мне бы за тобой, – стал шутить он. – Такая краса за спиной – мужу честь. А я что? Мне бы полюбоваться! – обернулся опять, не сбавляя шага.

Она улыбнулась и опустила глаза. Угрюму показалось, будто чудный свет озарил его путь этим туманным, холодным утром. Он заговорил громче, веселей.

– Жених вчерашний в гости напросился! – окликнула Пелагия бывших в келье подружек. И окинув промышленного сияющими глазами, потянулась к ведрам. – Туда нельзя, матушки молятся.

Нельзя так нельзя! Угрюм был счастлив и нынешней встречей. Он продрог в своем кафтанишке. Идти с инокинями строить скит ему не хотелось, и он пошел за острог, к балагану, на ходу придумывая повод для другой встречи. Попутно выглядывал место, где срубит свой дом. Уже решил, что поверстается в посад. Кое-как ремесла он знал не хуже гулящих. Чего не

умел, тому надеялся научиться. «Я теперь богатый!» – думал весело и зло, будто мстил нищему детству и бесприютной юности.

К вечеру он опять побежал в острог. Келья была пуста и выстыла за день так, что вода в котле покрылась льдом. Стараясь не запачкать лицо и сукно кафтана, Угрюм развел огонь. Когда пришли девицы, в землянке было тепло.

Он с полувзгляда заметил, что Меченка на этот раз сердита. И не просто, по прихоти, а так зла, что ногами сучит, глаза шурит. А из них будто искры летят. Взглянула на него дерзко, дернула головой, как строптивая кобылка.

– Вот и жених! – скривила губы, делаясь некрасивой и даже уродливой. – Молод, хорош, говорит, что богат. Один кафтан чего стоит. Вот возьму и пойду за него! – вскрикнула, чтобы весь острог слышал.

Угрюм смутился на миг, а кровь застучала в ушах. Уж он-то знал, как может переменить жизнь один миг удачи. А упустишь его – не вернешь! Промышленный приосанился, взглянул с вызовом и удалю в подурневшее лицо.

– А что? Со мной не пропадешь! – сказал важно, напрягая шею. – Я богатый! Есть на что дом построить и свадьбу сыграть. Бывало, за неделю зарабатывал больше, чем иной атаман за год.

Длинная, несуразная девка тихо и невнятно заголосила баском. Полненькая, конопатая стала кидать на него укоризненные взгляды.

– Возьмешь за себя? – резко спросила Меченка, буравя его злыми, прищуренными глазами.

– Возьму! – ошеломленный этим взглядом, пробормотал он, будто бес дернул за язык.

– Тогда иди, а мы будем думать! – приказала Меченка, чем окончательно сбила его с толку.

Он рассеянно натянул до бровей дорожную соболью шапку, выскочил из кельи, не прощаясь. Понять не мог: то ли его приласкали, то ли прогнали. «Если счастье, возьму, не упущу, – успокаивал себя. – Если несчастье, сбегу, никто не удержит!»

Он ворвался в балаган с мрачным лицом. Скинул кафтан, бросил его на нары и повалился головой в угол, как пьяный. Ни брата, ни Синеульки не было. Пенда со старым Михеем Омуплем бездельничали, переговаривались. Передовщик держал на коленях саблю, то обнажал на ладонь клинок, то с клацаньем вгонял его в ножны. Угрюма никто ни о чем не спрашивал.

Он перевернулся на спину, уставился в потолок. Мысли о строительстве дома, которые донимали прошлую ночь, в голову не шли. Стояла перед глазами Меченка: то печальная, как возле проруби, то злющая, как в келье.

– Все, сил нет сидеть на одном месте! – тихо проговорил Пантелей и бросил саблю на одеяло. – Завтра иду к воеводе, бью челом, даю заручную челобитную, чтоб велел отпустить промышлять за Енисей, в верховья Ангары.

– Скажи, к Тасейке-князцу! – прошамкал старик сжатыми в гузку губами. – Объявишь дальний путь, потом расспросами станут мучить. Кнутом да дыбой язык потянут. Я знаю!

– Если вернусь! – Старик и Пантелей тихо, с намеком рассмеялись о том, что знали только они.

– А пойдем притоком тунгусского князца Тасейки. Даст воевода коней – хорошо, не даст – соберу гулящих. Дотащат припас куда надо.

– Товар бери! – опять беззубо прошамкал старик. – С товаром ты – лучший гость, что у тунгусов, что у братьев. А Рождество гулять надо в остроге! Грех у костра сидеть, если Бог велел веселиться!

– Навеселился уже на много лет вперед! – проворчал Пантелей. Но согласился: – На Рождество придем в острог, а после – с концами!

– Не даст воевода коней! – пробубнил Угрюм. Он слышал от стрельцов, что им с казаками всю зиму приказано возить рожь из Маковского и Кетского острогов.

– Ты идешь или остаешься? – обернулся к нему Пантелей.

– Не знаю! – как пьяный, процедил сквозь зубы Угрюм. Хотел, чтобы приняли за пьяного.

– Завтра – еще думай, а после сам будешь кланяться воеводе! – насмешливо пригрозил Пантелей. – С нас отъездную пошлину он возьмет по гривенному, а сколько с тебя – не знаю.

Угрюм не отвечал. Стояла перед глазами статная девка. Глядела искоса, прикрыв одну щеку платком, глаза лучились зеленью и синью. Такая грезилась ему в тяготах промыслов. Ради такой терпел и старался разбогатеть. Может быть, всю прежнюю жизнь ради нее мучился.

Брат пришел поздно. Младшего не окликал. Переговорил о чем-то своем с Пантелеем и лег спать. Среди ночи Угрюму пришла в голову сонная мысль, что надо встретить Пелагию одну и переговорить с глазу на глаз. Вдруг сговорятся? Тогда все станет ясно.

Как на посту, он стоял у закрытых острожных ворот и не просил открыть их ни караульного, ни воротника. На этот раз одет был в тулуп и сары. Показался во всей красе и хватит. Первым из ворот вышел казак с обмерзшими ведрами. Взглянул на промышленного хмуро и подозрительно. Чуть кивнул в ответ. Зевая и укрываясь плечом от пронизывающего ветра, поплелся к проруби. Он и разбил лед, обнажив черную воду.

Вскоре показалась Меченка в своей нищенской шубейке. Из-под платка видны были одни глаза. От того, как она ступала ногами по тропе, сладостно заныло сердце. Угрюм поклонился и пропустил ее вперед. Она просеменила к яру, подхватила полы шубейки, села на обледеневшую тропу и шаловливо скатилась к реке. Угрюм собирался съехать следом за ней, но из ворот, не крестясь на Спаса, выскочил Максим Перфильев, одетый по-дорожному, как промышленный. Он съехал под яр на подметках и стал быстро нагонять Меченку на тропе. Раз и другой громко окликнул ее. Она не оборачивалась.

Максим, проваливаясь в снег, забежал сбоку, что-то горячо заговорил, удерживая ее за руку. Пелагия отвернула голову в другую сторону, задрала нос, не желая слушать. Он забежал с другой стороны. Она снова отворотилась. Так оба подошли к проруби. Угрюм догнал их и топтался на месте, опустив руки. Не знал, что сделать, что сказать. Максим будто не замечал его.

– Ты подумай, как я останусь? – громко увещевал девку. – Хлеба в остроге на месяц, и тот покупной. Я же служилый! Вернись. После Пасхи обвенчаемся!

– Ну и служи! – вскрикнула Меченка в узел платка. – За другого пойду! Хоть бы за этого! – подхватила под руку Угрюма. Коромысло соскользнуло с ее плеча. Ведра покатались по льду.

Максим даже не взглянул на промышленного. Оттеснил его плечом, привлек девку к груди, с жаром заговорил, клоня к ней голову. Она отстранялась, выгибая спину, отворачивалась, хотя и не высвобождалась из его рук. Угрюм поднял ведро, наклонился за другим. Пелагия что-то приглушенно выкрикнула. Что? Промышленный не услышал. Увидел только, что ведро, за которым он наклонился, полетело по льду от пинка. Казак выругался, плюнул и быстро зашагал к острогу.

«Ну и ладно!» – с тягостным унижением подумал Угрюм. Зачерпнул ведрами речной воды. Хотел нести, как прошлый раз. Вдруг Пелагия со слезами и ревом стала вырывать их из его рук. Пронзительно закричала:

– И чего привязался, гусак раскормленный?

Угрюм взглянул в ее распаленные глаза, побагровел, бросил под ноги ведра, с прямой, негнушейся спиной зашагал следом за Максимом. Он ворвался в балаган и, не раздеваясь, упал на нары. Брат, Пантелей, Синеулька и старый Омуть степенно черпали кашу из черного котла.

– Ухожу! – прорычал, ни на кого не глядя.

– Ну и ладно! – буркнул Пантелей. Расправил, пригладил пышные усы. Привычно стряхнул с них кашу. – За одного битого, как говорится, больше платят.

Иван опустил глаза, вздохнул, облизал ложку, перекрестился. Ни слова не говоря, накинул шубный кафтан и ушел в острог.

Обоз на Кеть был отправлен в тот же день, а на другой Пантелей Пенда получил наказную грамоту от воеводы, оплатил за четверых промышленных отъезжую пошлину, с покупной пошлиной скупил у гулящих и торговых людей весь ходовой товар, дорогой ценой прикупил к своему припасу десять пудов ржи да пуд соли.

Как ни просились гулящие люди в его ватажку покрученниками, он никого не взял, но работу за прокорм дал многим. Под его началом сразу после Николы зимнего, на чудотворца Амвросия, в самую стужу, первые четыре нарты ушли к устью Тасеевой реки, чтобы поставить там стан.

Угрюм сказал брату, что ни на Страстную неделю, ни на Святки в острог не придет. Он оплатил четверть расходов на сборы ватажки клейменными мехами, остальные погрузил в нарту. Пантелей Пенда отдал Ивану даром теплый балаган и оставил на хранение отощавший мешок с мехами, дескать, еще добудем.

Михей Омуть весело поглядывал на работных, поучал их срывающимся голоском. Вдруг он смутился, затоптался на месте. Пантелей оглянулся и скинул шапку. Возле обоза объявился инок Тимофей. Никто не заметил, как он подошел к балагану. Старый Омуть тоже сорвал шапку, стал низко кланяться, шепелявя сжатыми в гузку губами:

– Прости! Прости, батюшка!.. Прости!

– Это ты меня прости, Мишенька! – всхлипнул инок, и слезы покатались по его щекам, румяным от крепкого мороза. Скитник упал вдруг перед стариком на колени.

Ошалевший от такого прощания, старик смутился пуще прежнего. Заголосил, по-волчьи задирая голову к небу, и упал на брюхо. Суча ногами, запричитал:

– Прикажи, батюшка, останусь!

– Иди! – перекрестил его Тимофей, позвякивая веригами под плохонькой шубенкой. – Судьба твоя там, не здесь. Меня, грешного, не забывай в молитвах!

Старики поднялись и слезно простились. Пантелей подошел к иноку за благословением. Тот не стал отнекиваться малым саном, перекрестил передовщика. Сосульками висели в его бороде застывшие слезы.

Угрюм досадливо отошел в сторону и все поглядывал на ворота острога: не выбежит ли с раскаянием Пелагия-Меченка. Он был зол на нее, на острог, на брата, служившего здесь. Простились Похабовы добром, но холодно, не так, как братья. О будущем не гадали.

Срывая нарты с наледи, подналег на бечеву Угрюм. Ненароком обернулся к острогу и поймал случайный взгляд инок Тимофея. Этот укоризненный взгляд так навязчиво прилип к сердцу, что он не мог откреститься от него до самого устья Ангары.

В остроге прошла неделя и другая с тех пор, как Максим Перфильев ушел на Кеть. Из прибывших казаков воевода оставил при себе только троих: Ивана Похабова с Агапием Скурихиным да Филиппа Михалева. Под началом стрельца Терентия Савина они водили подводы с рожью из Маковского острога в Енисейский.

Зима была снежной, колея от саней глубокой. Выезжали обозные из Енисейского, затем поднимались по Кеми и отсыпались под тяжелыми тулупами. Лошади послушно тянули легкие сани. Зато в обратную сторону, с грузом, людям приходилось впрягаться в гуж наравне с ними.

Возвращались, парились в бане, два дня отдыхали, затем надо было снова идти застывшими болотами в верховья Кети, в Маковский острог. К Страстной неделе Ивану Похабову стало казаться, что весь свой век он только и делал, что возил пятипудовые мешки с рожью. И впредь, до скончания века, ничего другого уже не будет.

Он вернулся в свой балаган, раздул очаг. Дни были совсем коротки. Стужа стояла лютая. Разгорелся огонь, по стенам жилья засверкала розовеющая изморозь. В сумерках с котлом в руках Иван поплелся к проруби на Енисей. Громко, как щепка, под каждым шагом хрустел снег, и казалось, будто кто-то крадется сзади. Вперед казак не глядел. Шел против пронизывающего ветра, низко опустив голову, различал только тропу под ногами. Так и столкнулся с Меченкой.

Укутанную в шушун, обвязанную, как кокон, не сразу узнал ее. Столкнувшись, отпрянул. Пелагия в упор глядела на него мокрыми глазами. Иван кивнул, хотел пройти мимо, но она загородила тропу. Он вскинул голову, взгляделся. По щекам Меченки текли слезы. Она придвинулась к нему, обхватила за шею руками, повисла на его плечах, снизу вверх так глядела бездонными глазищами, что душа Ивана чуть было не вывалилась под ноги, на скрипучий снег.

– Господи, прости и помилуй! – уткнулась в грудь молодца. – Топиться хотела, а тут ты!

За правым, за левым ли плечом казака пискнул смешливый голосок, дескать, в такой одежке ни в одну прорубь не протиснешься! Иван же неловко ругнулся:

– Что мелешь-то? – А сам, вместо того чтобы отстраниться, сладостно и томно оглаживал ее спину. Даже под шушуном чувствовал упругий, гибкий стан. – На Святой неделе. Грех-то. Не отмолить!

Почуввав душевную слабость в кряжистом, сильном молодце, Меченка завывала громче и пронзительней. И сладко, и больно, и страшно горячие ее слезы жгли его выстывшие щеки, хоть девка ростом была ему до плеча. Удивляясь тому, казак очумело догадывался, что склонил к ней голову.

– Возьми меня под венец, Иванушка! – глубже и глубже зарывалась она лицом ему за пазуху, под кафтан, к самому сердцу под пропотевшей рубахой. – Я тебе хорошей женой буду. Иначе мне одна дорога – утопиться! Нет доли иной! – шмыгнула носом, отпрянула, пронизав его растерянные глаза своими, ищущими спасения. И хохотнула вдруг, еще больше смутив Ивана.

В его буйной голове разоренным ульем заметались лихорадочные мысли. Подумал – забрюхатил товарищ девку, а она, глупая, понять не может, почему нельзя ему, Максимке, не идти на Кеть.

– Как же Максимке в глаза-то взгляну? – простонал он, сдаваясь. И почувствовал на себе Иудину усмешку.

Она торопливо зашептала, отдавая горячим дыханием:

– Может, не с ним, с тобой судьба завязана. Не поняла сразу. Не признала тебя.

И совсем уже срываясь в бездну, он вдруг нашел себе оправдание, как тонуций за соломину уцепился за него: «Максимке лучше не будет, если девка-дура наложит на себя руки и его младенца погубит. С не родными по крови детьми, с богоданными, бывает, хорошо живут».

– И так грех, и эдак! – пробурчал податливо. Повздыхал, вздымая широкую грудь. Слизнул с губ ее соленые слезы. Опять глубоко и шумно, как бык, вздохнул: – Может, и впрямь судьба!

Она благодарно прильнула к нему, прерывисто и облегченно, как ребенок, вздохнула. К острогу они шли молча. Каждый думал о своем. У ворот она отвесила три низких поклона на лик Спаса. Еще раз ткнулась лицом ему в грудь. На этот раз напоказ караульному стрельцу Михейке Стадухину и острожному воротнику Антонке Тимофееву по прозвищу Табак. Иван затравленно зыркнул на них в полутьме. Эти не умолчат. К утру весь острог узнает, что Похабов прельстил невесту товарища. Он опять шумно вздохнул и спросил:

– Когда подружки венчаются?

– На Васильев день! – Пелагия блеснула не просохшими еще глазами.

– Скажу завтра воеводе, – буркнул. – Да к попу надо на исповедь. Благословенье даст ли?

– Даст! – уверенно шмыгнула носом Меченка.

Она скрылась под проездной башней. Он пошел в балаган с прогоревшим очагом. Распахнул дверь. Пахнуло в лицо теплом и жилухой. Тут только вспомнил про пустой котел, который так и болтался в руке. Иван горько хмыкнул, бросил его в угол, упал на нары, глядел, как мечутся тени по потолку из неошкуренных жердей, и примечал за собой, что глупо улыбается.

Воевода с полуслова понял, согласился с казаком и даже обрадовался тому, что он хочет взять за себя девку.

– Оно и лучше! – усмехнулся, почесывая редеющий затылок. – Эти две на мужнино жалованье, а Пелашку с какого оклада мне кормить, пока Перфильев не вернется? Разве среди подруг христарадничать станет.

Белый поп Кузьма Артемьев имел государево жалованье в шесть рублей, но не имел церкви. Первый год своей службы он был этим очень недоволен. Но втянувшись в острожную жизнь, понял, что служилым правда не хватает сил и времени, чтобы срубить храм. Строительством занимался он сам. Время от времени у него появлялись добровольные помощники. Руки у попа были мозолистыми, заботы житейскими. Молебны он служил по надобности. По великим праздникам, в Страстные недели и по воскресеньям служил литургии на антиминсе в часовенке над проездными воротами.

Стал было Иван оправдываться на исповеди, что берет девку за друга, поневоле тайком от него, чтобы та не наложила на себя руки.

– Я ей наложу! – взревел Кузьма. – Батогами зад выдеру, козе! Сиськи оторву!

Упоминание о дурных помыслах Пелагии привело его в такое негодование, что он, ругая невесту бл...ной дочкой, сучкой-вертихвосткой, не стал пытаться Ивану о его тайных помыслах. Недовольный нравами сибирских старожилов, лишь пожурил казака, что тот берет чужую невесту. Поохал, потолковал о соблазнах и допустил к причастию. Иван в счет венчания и в поклон дал на строительство церкви черного соболя. Поп Кузьма и вовсе повеселел.

Меченку же после исповеди он поставил перед воротами с внутренней стороны острога под иконой Введения во Храм Богородицы и заставил отбить сто земных поклонов. После этого едва державшуюся на ногах девку причастил.

Слух о том, что Иван поведет под венец перфильевскую Пелашку, облетел острог. Сослуживцы-казаки, Михалев со Скурихиным, перестали с ним разговаривать, показывая свое осуждение. Васька Колесников обегал его стороной и язвительно ухмылялся. Стрелец Терентий Савин, с которым весь пост водили подводы из Маковского, прошел мимо, задрал нос, ни кивком, ни взглядом не ответил на приветствие.

Сначала Иван подумал, что тот пьян. Вскоре заметил, что и Вихорка-жених, крепкий, работающий стрелец, умишком совсем не дурак, воротит морду. Михейка Стадухин при встречах глядел ему в глаза пристально и зло, кривил губы, искал повод, чтобы припомнить обиды на Кети. И понял Иван, что против него сговор. Озлился на всех, особенно на женихов. Аж зубами скрипел, завидев их. «Забыла, верстанная голь, кто за их невест платит?» Стал и он расхаживать по острогу с важным видом. Задирал молчунов.

Пелашке велел сшить новый сарафан да шубу, купил ей к свадьбе не ичиги – козловые сапоги, сам покрывшись шапкой из черных соболей. Перед венчанием все три пары пошли на поклон к воеводе. Вихорка с Васькой, кланяясь, обещали кроме верных служб отдарить в почесть, как разбогатеют. Иван, всем напоказ, после поклона выложил пару клейменных соболей. Воевода потряс рухлядь, полюбовался черными спинками, голубым подпушком, благословил пару особо.

И в съезжей избе, где венчали разом три пары, Иван с Пелагией стояли, задрал носы: в отместку всем они глядеть не желали на бывших своих связчиков. Венчал их поп. Попадья и монашенки пели. Параскева, с которой Иван был дружен в пути от Сургутского острога, бросала на него такие жалостливые взгляды, будто он не женился, а соборовался перед кончиной. Изредка ловил на себе Иван сочувственные взгляды Савины с Капитолиной. Девки были

с ним ласковы, и он добрел ради них. Одежка на невестах была плохонькая, но так ладно выстирана, залатана, подогнана, что казалась праздничной. Боясь обидеть добрых девок, Иван терпел заносчивость их женихов.

Время от времени и он поглядывал на Савину с Капой. Как ни любил их душой, а, сравнивая с Пелагией, замазавшей пятно на щеке белилами да румянами, самодовольно убеждался, что его невеста краше всех баб в остроге, а то и по всей Енисее.

После венчания воевода велел накрыть стол в съезжей избе. Иван нахрапом занял место посередине, в красном углу под образами, и невесту усадил под бок к воеводе. Ни Вихорка, ни Васька Колесников не посмели пикнуть. Яков Игнатьевич, в красном кафтане, сел на место посаженного отца и дочь свою, отроковицу Анастасию, посадил на колени, хоть той по возрасту должно сидеть на лавке.

Стрелецкий сотник Поздей Фирсов с сотничихой сели напротив воеводы.

Скитник Тимофей так и не пришел, хотя его ждали. Монахини попили квасу, поклевали каши с рыбкой, спели молодым «Об умножении любви и искоренении ненависти». Откланялись и ушли. Застолье оживилось. Остяцкого вида ясырки внесли запеченную целиком оленью голову. Поставили на стол кувшин с горячим вином.

Довольный собой, Иван вытерпел неприязненные взгляды служилых, принял поздравления от воеводы и сотника, откланялся им и первым увел невесту в свой балаган.

Были у него в прежней вольной казачьей жизни блудные связи. Бывало, и в Сибири погрешал с ясырками по своей мужской слабости. Но то, что произошло в ночь после венчания, потрясло его. Он лежал, глядя в потолок, на блики пламени, рассеянно вспоминал слова попа при венчании: «...и прилепятся друг к другу и не будет того родства. крепче».

Не обманула тайных ожиданий его присуха. Она была ласкова и даже весела. Казалось, ее ничуть не печалило, что прежний жених потерян. Меченка долго не могла уснуть, как и сам Иван. Хорошо было вдвоем, но непривычно тесно под одним одеялом. Она села, накинув на плечи шубейку. Со странным, незнакомым лицом смотрела на Ивана ласково и удивленно.

– Вот ведь судьба! – провела ладонью по его обнаженной груди. Потрогала сабельные рубцы. – Увидела тебя тогда, в зимовье, голым, – хихикнула, плутовато щурясь, – будто пламень во мне вспыхнул: захотелось от тебя родить. Чудно!

Иван усмехнулся во тьме, вспомнив, как испугал блудящих своим приходом. Едва не съязвил: из-под одного, мол, выскользнула, другого высмотрела. Но не сказал так, а только подумал. Слишком хорошо было ему, чтобы сердиться на прошлое.

– Наперед бы все ладилось! – пробормотал сонно. – А что было – прошло! – Зевая уже, спросил: – Ты-то что в Сибирь пошла?

– Жених у меня был. Сосед в посаде! – посмеиваясь, охотно начала рассказывать Пелагия. – Пришел с войны – а я уже в перестарках. Невест много – женихов нет. Он и закуражился: это ему не так, другое. Купцы стали звать в Сибирь – куражся, думаю, без меня. И ушла.

Проснулись они поздно. Спихватились. Для молодых, по обычаю, топили баню. К полудню воевода, верховодивший за посаженного отца и свекра, опять накрывал стол, надо было прийти к нему, поклониться с молодой женой.

Иван стал поторапливать Пелагию. Не дожидаясь, когда она поднимется, раздул очаг. Вошло тусклое, холодное солнце. Стужа жгла лица. Поскрипывая снегом, молодые направились к острожной бане. Из нее уже не валил дым, но белый пар висел над закуржавевшей дверью.

Иван думал, что Вихорка с Савиной, Васька с Капой давно помылись после брачной ночи. И надо было так случиться, что в одно и то же время с разных сторон к бане сходились три пары молодоженов. Савина и Капа висли на руках мужей. Вихорка, кряжистый, приземистый, шел напролом с налитыми кровью глазами.

Васька Колесников зыркнул по сторонам и с насмешливым видом остановился у жены под боком: это я бы, дескать, бегом не бегал. Савина с виноватым видом как могла удерживала Вихорку, ног не переставляла, скользила за ним по утопанному заледеневшему снегу. Муж тянул ее за собой против воли.

– Не вами плачено! – взревел Иван. Бросил жену. Проваливаясь до колен в снег, в три прыжка опередил Вихорку. Загородил подход к бане, заслонил собой дверь. Упер руки в бока, глядя на товарища с вызовом и насмешкой. Увидел, что из острожных ворот бегут Терех Савин и Михайка Стадухин.

– Ты кто такой? – закричал стрелец. Обернулся за поддержкой к Ваське Колесникову.

– Я тот, кто заплатил без роста за твою жену! – выругался Иван. – Постарше тебя и заслуженней! – протянул руку, поджидая застрявшую в снегу Меченку.

– Твои заслуги кнутом на твоей спине писаны! – закричал Вихорка, свирепея. Бросился на Похабова с кулаками. Подоспевшая Пелагия с визгом повисла на руках мужа, и у него в глазах брызнули искры: жена помешала увернуться от удара. Он попытался ее оттолкнуть. Пелагия снова, как веревкой, опутала его руки.

Похабов рыкнул, стряхнул ее, дав оплеуху. Меченка упала в сугроб. Отбив рукой другой удар, он звезданул стрельца в широкий лоб. Краем глаза заметил, что Терех Савин уже рядом и на ходу достает засапожный нож.

И нахлынуло, как в юности под стенами Москвы. Едва привстал отпрянувший от удара Вихорка, Иван снова положил его кулаком, на этот раз на всякий случай. Пока тот не очухался, сорвал банную дверь с петель, огрел ею подбежавшего Тереха. Засапожник выскользнул из руки стрельца. Иван подобрал его, распрямился, отступил к парящей бане.

Вкрадчиво, как кот, на него шел Михайка Стадухин. В его руке блестел нож, ледяные глаза смотрели в переносицу. Уже по тому, как он подступался, Иван почувствовал опытного бойца. «Казак!» – подумал с уважением, насторожился, сделал выпад, отбил удар. «А так не учили?» – пнул стрельца под колено. И тут между ними встал сотник с обнаженной саблей. Михайке скрутили руки. Иван покладисто бросил под ноги нож Терентия, заткнул сорванной дверью исходившую паром баньку.

Капа кричала басом. Савина испуганно крестилась и озиралась. Иван вытащил из сугроба охавшую Меченку. Под глазом против родимого пятна у нее набухал кровоподтек. Она охала и прикладывала к лицу снег.

– Не лезь поперек мужа! – наставил Иван строгим голосом. Подхватил ее под руку, подтолкнул к бане.

Они не парились: не до того было. Меченка молчала и обиженно воротила лицо в сторону. У Ивана ныла переносица, под глазами набухало. Щипало казанки со сбитой кожей. Но он не отводил глаз от жены, до того была она красива телом. Пелагия от взглядов мужа не укрывалась, не стыдилась. Лицо ее было злющим, подурневшим, а телом поигрывала напоказ, в отместку.

– Что долго? – орал снаружи Васька Колесник. – В бане жену тискать грех!.. Ночи мало или что ли?.. Другая будет... Ванька! Это я на вас сотника привел. Приведу и попа. Ужо кадилом по голым задам причастит.

И кричал стрелец, и насмеялся без умолку. При этом так срамословил, что вынуждал поторапливаться. Молодые наспех помылись и вышли, даже не порозовев от пара. Иван грозно распрямился за банной дверью. Вихорка взглянул на него с укоризной. У него на лбу вздулась красная шишка. У Терентия вспучились окровавленные губы. Михайку увели караульные. Васька со смешливым лицом стоял в стороне под боком у Капы и потешался над ними всеми.

Иван прошел мимо товарищей с озлобленным лицом и проволока за собой жену. Она закрывала лицо рукавицей.

– Вот свадебка так свадебка! – смеялся воевода, встречая молодоженов. С удовольствием разглядывал их лица. – По-нашему, по-сибирски! – Потирал руки. – Не то что вчера!

Он явно уже принял чарку за поправку здоровья. Борода его торчала помелом, сам был весел и ласков, молодых жен целовал в губы на правах посаженного отца и свекра.

Капа пугливо пучила на него и без того большие коровьи глаза и пятилась за малорослого мужа, пока Васька не гаркнул:

– Целуй воеводу, дура!

Она закатила глаза и опустила послушную голову.

– Ивашка? – вскрикнул воевода, взглянув на слезливую Пелагию. – Почто, изверг, так жену разукрасил в первый день?

– Для науки! – пробурчал Иван.

Воевода опять захохотал и звонко трижды поцеловал повеселевшую Меченку.

– Буду жив, вашего первенца окрещу!

Положив семипоклонный начал на красный угол, новобрачные расселись по прежнему чину. Вошел сотник. Он был хмур, но уже посмеивался. Подхватив саблю, которой только что грозил буйанам, сел по другую сторону от воеводы. Выпили квасу, поели блинов, выпили по чарке во славу Божью, на том разошлись, напутствуемые первыми людьми и осторожным попом.

Посветлел лицом Иван Похабов. После драки Вихорка с Васькой стали приветливей. Казаки, старый Филька с рыжим Ганькой, будто забыли о прежней неприязни. На крыльце съезжей избы Иван спросил сотника Поздея:

– Михейка-то где?

– В яме! – рыкнул тот. – Надоел, поперечный! Зашлю куда подальше.

– Отпустил бы? – вступился за стрельца Иван. – Неделя свята. Велика важность, подрались!

– Драка дракой! За ножи-то что хвататься? – огрызнулся было сотник таким голосом, что Иван понял: после другой чарки он отпустит Стадухина без батоков.

Среди служилых мир был налажен. Выпили мировую, повинились друг перед другом и разошлись. Только Меченка молчала и дулась до самой ночи. Хороших супругов ночь мирит. Едва укрылись одеялом, она, со вздохом, стала податлива. Молчала, но не была холодна. А утром опять дулась, воротила в сторону порченное лицо. Зачем-то гремела котлом, долго раздувала печь и все не могла раздуть, до тех пор пока сам Иван не поднялся и не развел огонь. Пошла за водой, да будто не на прорубь, а в Маковский острог. Приволоклась едва ли не к полудню.

– Кашу варить думаешь? – тоскливо спросил Иван и заметил, что у жены нос испачкан сажей. К тому же он показался ему непомерно длинным. Иван ждал до полудня, когда жена сварит завтрак. И все молчком. Не дождался, схватился за шапку и ушел в острог.

Когда он вернулся, каша подошла. Нос у жены был и в саже, и в муке. Она только замесила хлеб и поставила за очаг квашню. В балагане кисло пахло закваской. Одеяла на нарах лежали неприбранными с самого утра. Ложки отчего-то валялись на земляном полу. Все было перевернуто и разбросано, как при побеге хозяев. «Видать, женишок на Руси хорошо знал соседку, оттого и не спешил под венец!» – тоскливо подумал Иван. Он поел каши и снова ушел в острог.

Воевода дал молодым мужьям отдых. Васька с Вихоркой стали помогать попу строить церковь, а Иван начал напрашиваться на службу. Сидеть с женой в балагане было тягостно. С тоскливым лицом день и другой он стоял в карауле. На третий Меченка отошла. Сначала вкрадчиво и обиженно, потом веселей заговорила. Не корил, не погонял ее Иван, не желая новых размолвок, надеялся, что со временем она научится хозяйствовать как все. Однако удивлялся про себя, как смогла посадская девка не научиться печь хлеб? Не боярыня ведь? И как-то обмолвилась она, что семья была многодетной и ей, старшей, всю-то жизнь пришлось быть нянькой. Ничего другого по дому она не делала.

Обида прошла, но веселей в балагане не стало. Иван с облегчением принял прежнюю службу. Оставить жену одну за острогом он опасался. По его приглашению Капа с Савиной и их мужья с радостью перешли жить из тесной, многолюдной караульни в его балаган.

На этот раз он сам повел обоз в четыре подводы с Агапием-Ганкой Скурихиным, Терентием Савиным и Михейкой Стадухиным.

– Не нравится мне ваша ватажка, – ворчал сотник, наставляя в путь. – Ох как не нравится. Да послать вместо Михейки некого... Похабов – старший! Ты это хорошо понял? – напирал на поперечного Стадухина. – Устроишь драку, повешу!

– Не повесишь! – язвительно ухмыльнулся Михейка. Лицо его сделалось строгим, взгляд пронзительным: – Никак ты себя возомнил енисейским царем? Кто еще имеет право казнить смертью? А вдруг я объявлю государево слово и дело? Вон сколько свидетелей! – повел рукой на спутников, которые тупо соображали, куда клонит стрелец.

Сотник злобно сплюнул, матерно выругался.

– Дери его как сидорову козу! – крикнул Ивану и махнул рукой, отправляя обоз к реке.

Тренька Савин, в чине стрелецкого десятского, был осторожен и рассудителен. Но сладить с Михейкой он не мог. Оттого и отправил сотник старшим Ивана.

Михейка Стадухин был не высок и не дороден. Как драный пес, не боялся ни драк, ни ран, даже скучал без них. Он любил покичиться, покрасоваться, но больше того – унижить кичливых и красующихся. Это у него доходило до страсти. С Иваном Михейка держался ровно. Только после свадьбы бес попутал схватиться за нож.

В Маковском остроге прогнила крыша на государевом амбаре. Рожь, что была сверху, подмокла и обледенела. Приказчик острога с криком напирал, чтобы брали подряд, со льдом. Он знал, что Похабова трудно вывести из себя, а принудить можно. Иван же насмешливо взглянул на него и кивнул Михейке:

– Вразуми!

Стрелец набрал воздуха в грудь, набычился и сорвался на приказчика, как цепной пес. Тот не выдержал долго его криков и напора:

– Берите что надо! – отмахнулся, лишь бы отвязаться.

Обозные смеялись, но уже не над приказным. Они видели, что Михейка только еще вошел в раж и не получил всего удовольствия от перебранки. Ждали, что будет срывать на всяком, кто подвернется под руку.

Много было передумано Иваном долгими холодными ночами. Неприязненное не забылось. Томила душа, ожидая возвращения. Навязчиво помнились женские ласки. Камнем давила грудь неизбежная встреча с Максимом. Иван придумывал разные слова оправдания, сам себе доказывая свою неправую правду. А на сердце было тягостно, будто пятно со щеки жены прилепилось к нему навек.

Со своими людьми и грузом Похабов пришел в Енисейский острог перед Святой Пасхой. Кони привезли две пары саней к оврагу Мельничной речки, вышли на ее ноздреватый, почерневший лед. Как всегда, обоз окружили гуляющие люди, зимовавшие возле острога. Сквозь их толпу протиснулись жены обозных.

Служилые выгрузили рожь в государев амбар и разошлись по своему жилью. Как всегда, воевода дал им, вернувшимся, отдых. В балагане было тепло и прибрано. Пахло хлебом.

– Все! – бросил Иван шапку и радостно обнял жену: – Топи давай баню!

Но не она, а Капа накинула шубейку. Савина, ласково поглядывая на казака и на мужа с Васькой, налила всем квасу. Как сестра, пощупала заскорузлую рубаху на плечах Ивана.

– Исподнее сними! Постираем. Пока паришься – все просохнет.

Как ни тесно было в балагане трем семьям, но так Ивану жилось веселей, чем наедине с Пелагией.

Едва вышел срок собираться для новой поездки в Маковский, на льду Енисея показался большой обоз. По времени пора было вернуться Максиму Перфильеву. Вихорка с Васькой с женами побежали встречать прибывших. За ними увязалась Пелагия. Иван ни словом, ни взглядом не удерживал ее, но сам на встречу не пошел. С почерневшим лицом сидел возле очага и глядел на огонь.

Когда все вернулись, он стал пытливо заглядывать в бирюзовые глаза, старался угадать, ждала ли жена Максима. Но, как ни старался, не заметил в них ни большой радости, ни скрытого стыда. Неохотно и осторожно она шепотком уверила его среди ночи, что к ней бывший жених не подходил, видела она его только издали. А Максим должен был узнать еще в Маковском, что бывшая невеста замужем.

После молитв и завтрака с мрачным лицом Иван отправился в острог, чтобы получить очередное напутствие от воеводы. Трижды положил поклоны на Спаса над воротами проездной башни. В остроге обернулся к воротам. С внутренней стороны трижды поклонился лику Богородицы. А на уме было одно, о чем думал всю ночь. Иван сжал зубы, злясь на себя, распрямился важней прежнего, с каменным лицом двинулся к съезжей избе, где ждал воевода.

Склонившись в низких дверях съезжей избы, краем глаза он увидел Максима с чистыми, рассыпавшимися по плечам волосами. Перфильев сидел за приказным столом в бедняцкой шапчонке. Не успев вернуться, он уже скрипел гусиным пером. Мельком они взглянули друг на друга и отвели глаза. Не заметил Иван в лице товарища обиды, но Максим и не поднялся ему навстречу, как прежде.

Связчики по обозу уже сидели на лавке вдоль стены. На них Похабов не смотрел. Голова шла кругом. Максим то зыркнет мельком, то почешет гусиным пером за ухом. Снова примется писать, склоняя голову к столу.

– Нынче Максимка у меня разрядный¹⁹ подьячий! – воевода кивнул на Перфильева. – Сам жалованную грамоту привез.

Наконец товарищи вынуждены были кивнуть друг другу, встретившись взглядами. Но вышло это настороженно, как между малознакомыми. Иван стал докладывать воеводе о новых сборах. Сколько ржи осталось в Маковском. Напомнил про плохую крышу тамошнего амбара. Он старался не глядеть на Максима и чувствовал на себе его спокойный взгляд.

Воевода кивал подьячему, что писать при расспросе. Дело было сделано. Иван придвинулся к товарищу, не читая написанного им, поставил заручную подпись. Воевода кликнул ясырку, чернявую плосколицую бабенку с глубоко запавшими, как у слепца, глазами. Та принесла кувшин с квасом, стала разливать его по чаркам. Поставила на стол хлеб и соль. Воевода же приговаривал с плутоватой улыбкой в бороде:

– Не обессудьте – Великий пост. Угостил бы посытней, греха боюсь. Перезревший квас за печкой стоит, а налить не могу. Но если кто сам себе тайком нальет – не замечу. Доброе дело вы сделали, детушки. Не быть голоду в остроге. Оклады хлебом служилые получают сполна. В какой год так было? Я вашими службами доволен.

Вспомнив прошлое, воевода тихо рассмеялся, спросил Ивана:

– Не дрался ли со стрельцом прошлый раз?

– Мирно ходили! – коротко ответил он.

– Передрались ведь на свадьбе! – похохатывая, обернулся к подьячему, безмолвно сидевшему за столом. – Пришли ко мне на блины – один красивой другого.

Максим молча кивнул, ровно, без неприязни и укора посмотрел в глаза Ивану. Михейка Стадухин с кручинным вздохом встал. С насупленным лицом зашел за печь. Вышел оттуда повеселевший, обсасывая редкие и топорщившиеся, как у кота, усы. Сел, оглядев связчиков с

¹⁹ Разрядный – утвержденный в должности Сибирским приказом.

победным видом: дескать, и ничего, не наказал Господь! Терех Савин стыдливо просеменил туда же, к бочонку. Перед новой поездкой душа просила праздника.

Выпил и Иван добрых полкружки полпива, которое воевода скромно называл квасом. Немного отпустила сердечная тоска. Завертелись в голове приготовленные слова оправданий. Он подсел ближе к приказному столу. Максим вскинул на него глаза с чистыми, как снег, белками. Сунул перо в песочницу.

– Не мучайся! – сказал вдруг спокойно и вразумительно. – Я, как узнал, так сторяча-то даже обрадовался. Вериги ты с меня снял!

Все приготовленные оправдания разом перемешались в голове. Иван что-то пробормотал про душу, которую боялся загубить, часто замигал и тайком смахнул наворачнувшиеся слезы.

Нынче ночью жена призналась ему, что брюхата. Он догадывался об этом еще до свадьбы. Из его бурчанья Максим ничего не понял, только сдвинул брови к переносице и сочувственно кивнул. Повторять и разъяснять Иван не стал, покряхтел, пошевелил усами и бородой, приложился и махом опорожнил еще полкружки. «Бог простит!» – буркнул веселея. И правда стало легче. Стряхнув кручину с глаз, он смахнул с товарища сермяжный малахай, накиннул ему на голову свою соболью шапку.

– Носи! Себе другую сошью!

– Да ведь я у тебя в должниках? – запротивился было товарищ.

– Теперь Един Господь знает, кто у кого в должниках! – отмахнулся Иван.

Про Меченку между ними не было сказано ни слова. Боялись друзья берeditь затаенное от себя и от других.

Глава 2

Пантелей откинул лосиную шкуру, навешанную вместо двери. Балаган вздрогнул от порыва ветра. Дым очага с золой и сажей лег на меховые одеяла. Передовщик до пояса высунился наружу, набил котел снегом. Когда он укрыл вход, его длинная густая борода была бела.

Старый Омуль, затаив дыхание и смежив веки, привычно перетерпел едкий дым и ворвавшийся в балаган порыв ветра со снегом.

– Все сибирцы горазды пограбить! – посопев мокрым носом, гнусаво продолжил прерванное поучение.

Его уже ничто не пугало, он никуда не спешил и мог целыми днями сидеть у огня. Старик ни словом, ни взглядом не винил передовщика за то, что в ватажке осталось только четверо промышленных, равнодушно предупреждал, что при нынешнем малолюдстве надо быть осторожней.

Нанятые Пантелеем люди ушли, как только поняли, что ватажка промышленяты не будет: не захотели всю зиму таскать чужой припас за один только прокорм. Зимовка в Енисейском остроге была для них если не сытней, то легче и безопасней.

Пантелей Пенда по словам Михея Омуля кратчайшим путем шел к верховьям Ангары-Тунгуски. Старик караулил животы²⁰, сам передовщик с двумя спутниками челночил груз нартами. Двое волокли первую нарту, тропя по снегу путь. За ними тянул груженую нарту третий. Днище ходу вперед, возвращение за оставшимся грузом, снова переход до стана. И так изо дня в день.

Здесьние места считались мирными. В прошлом году побитые братскими дайшами²¹ тунгусские князцы Ялым и Иркиней приезжали в Енисейский острог, присягали русскому царю, доброй волей давали ясак со своих мужиков и с рода князца Югани. Нынешней осенью навывались князцы Тасей и Тарей, без принуждения привезли ясак за год.

Воевода боялся порушить шаткий мир с тунгусами Тасеевой реки. В наказной памяти, которую дал ватажке Пантелея Пенды, грозил расправой, если русские промышленные чем-то обидят здесьние роды или станут промышленяты без их согласия в родовых угодах, или сделают им какое худо.

Балаган стоял на берегу притока Ангары. И был этот приток вдвое шире Лены-реки в тех местах, где бывали Угрюм с Пантелеем и Синеуль. Сама же Ангара подо льдом была так широка, что в иных местах путники сомневались, в какой стороне коренной берег.

Пантелей замер вдруг, прислушался, снова откинул лавтак. Едкий дым очага опять пахнул в лица, выедавая слезы из глаз.

– Кажется, едут? – встрепенулся: – Тунгусы! Олени хоркают!

Он торопливо перекинул через плечо сабельный ремень. Обнаженный до пояса Синеуль молча оделся. Михей с Угрюмом положили стволами к выходу заряженные пищали, подсыпали из рожков пороху на запалы.

В снежной пелене показались рогатые олени и съезжившиеся на их спинах верховые люди. Всадников было только двое. Безбоязненно, по-хозяйски, они подъехали к балагану, спешились и поприветствовали лучи²² на свой лад: вот, дескать, мы и пришли!

Пенда с Синеулем ответили им по-тунгусски, пригласили под кров. Олени отошли на десяток шагов в сторону и стали копытить снег. Рядом с ними бесшумно, как тени, появились две собаки, осторожно подошли к балагану и легли, свернувшись клубками.

²⁰ Животы – движимое имущество.

²¹ Дайши – воины (*бур.*).

²² Лучи – русичи (*эвенк.*).

Михей с Угрюмом подвинулись. Гости протиснулись в тесное жилье, сели возле входа, скинули башлыки, шитые заодно с парками, раздеваться не стали. На балаган они наткнулись случайно: ехали по своим делам и учуяли запах дыма. Длинные черные волосы у обоих мужиков были связаны на затылке наподобие конских хвостов. Их лица были испещрены синими знаками татуировок.

– Здешний князец Тасейка с сыном! – по-русски сказал Синеуль и весело залопотал, выпрашивая гостей о новостях. Говорил он многословно, заскучав по своему языку. Тасейка важно щурил узкие глаза, отвечал односложно, неторопливо расспрашивал, куда они держат путь. За тонкой стеной балагана слышались грозное хорканье и клацанье рогов. Синеуль выглянул наружу, вскрикнул:

– Ак!²³ – Олени дрались между собой. Один повалил в снег другого, вскакивал на задние копыта и бил поверженного в грудь острыми передними. – Вадеми!²⁴

Тасейка равнодушно взглянул на дерущихся животных, пробормотал: «Э-э-э!» и продолжал неторопливый разговор. Собаки лежали в снегу и молча наблюдали за оленями.

Тасейка приметил в балагане малый походный топор и стал показывать, что он ему очень понравился. Дарить его топором было дорого и ни к чему: все равно ватажка не собиралась промышлять на реке. Синеуль стал торговаться, почтительно называя князца «мата»²⁵. Взять с тунгусов было нечего.

– Сторгуюсь за собак? – спросил передовщика по-русски.

– Зачем они нам? – равнодушно пожал плечами Пантелей.

– Промышлять буду по пути. Глядишь, чего добуду!

– Торгуйся! – неохотно разрешил тот, лишь бы не отдавать топор даром, как ясак.

Угрюм помалкивал, не понимая, как можно удержать при себе чужих собак, вопросительно поглядывал на Михея. Тот вполуха прислушивался к разговору и уже подремывал.

Малый походный топор да горсть бисера в подарок так обрадовали князца, что он разрешил промышлять на его земле, что пожелают кроме лосей.

– Обойдемся без лосятины! – согласился передовщик.

К немалому удивлению Угрюма, князец сказал собакам строгое слово, Синеулька поговорил с ними по-своему – и собаки остались возле балагана.

– Тунгусы и медведей заговаривают! – зевнул старый Омуть. Тонкие беззубые губы в редкой бороде вытянулись, как рот у осетра или стерляди. И таким мирным, жалким, беспомощным показался Угрюму этот старик, что с трудом верилось всему тому, что слышал о нем от старых промышленных. И подумалось вдруг: «И что его Омудем прозвали, а не Осетром или Стерлядкой?»

– Много спать – добра не видать! – затемно разбудил спутников передовщик. В его обледеневшей бороде позвякивали сосульки. Пантелей уже сходил к проруби и умылся. – Морды-то сполосните! – стал понуждать проснувшихся спутников. – А то как дикие: встаете – не мое-тесь, ложитесь – не молитесь!

Синеульку с собаками и с луком он отпустил вперед налегке тропить путь и добыть мяса. Старик остался в балагане, сторожить припас. Втроем они сорвали с места десятипудовую нарту. Кряхтя и елозя ногами по льду, двое промышленных потащили ее вдоль берега. Омуть вернулся в балаган.

Когда человек идет с собаками – они его ведут, а не он их. След Синеуля то и дело уходил в лес. Никакой пользы от новокреста с собаками не было. Там, где лед был замечен снегом, тропить и чистить путь для нарты приходилось опять им двоим.

²³ Ак! – Эй! (эвенк.)

²⁴ Вадеми – убьет, добьет (эвенк.).

²⁵ Мата – уважаемый (эвенк.).

К вечеру Угрюм поплелся налегке в обратную сторону на старый стан, передовщик остался рубить новый. В балагане было тепло и просторно. Дров Михей наготовил, хлеба напек, каши наварил, даже рыбы в проруби наловил. Угрюм, отдыхая, неприязненно наблюдал, как старик неторопливо, с удовольствием, обсасывает рыблю голову, то и дело расправляет пальцами мокрые седые усы. Омуль был вполне доволен пережитым днем и своей нынешней жизнью.

Угрюм сел, вытянув ноги, похлебал ухи из котла, опять откинулся на одеяло.

– За что тебя Омудем прозвали? – спросил. – Слышал я, что ты прежде много ходил и воевал. Не мое дело! Но почему Омуд? Никак не пойму!

Старик ухмыльнулся сжатыми в трубку губами.

– Молодой был глупый да горячий! – прочмокал вздыхая. – На злое слово скорый. Рыба есть такая, омуль. Из воды ее удой тянешь, а она верещит, будто тебя матерно лает. За то и прозвали!

Старик, как пташка, стал закрывать глаза истончавшими веками, моститься ко сну. Сыто икая, Угрюм опять спросил:

– Скажи по правде, неужто где-то там, – повел глазами на восход, – есть русские села?

– А то как же? – чуть оживился Михей. – Я сам не дошел, – признался со вздохами, сонно прикрывая глаза, – духу не хватило! Но много чего слышал о Великом Тёсе, чего сказывать нельзя по прежним клятвам.

Угрюм, глядя на всхрапнувшего старика, недоверчиво усмехнулся. Упрямство Пантелея Пенды он знал по прошлым промыслам, а этой зимой передовщик вел себя так, будто и не думал добывать пушнину. Похоже, он собирался искать то, о чем смутно и тайно говорили старые промышленные: будто где-то в урмане, на тайном тёсе, есть старые русские города и села. Будто новгородские люди, спасаясь от богомерзкой войны с единокровной Москвой, ушли туда давно.

Подозревал Угрюм, что Пантелей не взял в покругу никого из гулящих, чтобы не было споров и разногласий в ватаге. Всякие мысли одолевали молодого Похабова после неудачного сватовства в Енисейском остроге. И нынешнюю ватажку передовщик подобрал под себя: Михейке Омудю лишь бы сыту быть да поменьше мерзнуть, Синеульке лишь бы на месте не сидеть. А ему, Угрюмке, что? Он бежал от обиды. Может быть, сдуру, но теперь уже не воротишься.

В тайге люди дряхлеют быстро. Иной тунгус в пятьдесят лет выглядит как древний старец. Михей по годам был ровесником енисейскому воеводе и скитнику Тимофею. Но разве сравнишь их? Те еще крепкие, а этот – ветхий. Приглядывался Угрюм к старику и с невольным страхом примерял на себя его судьбу.

Синеуль с собаками добыл двух глухарей, тощую козу и рыжеватого соболька, которому в Енисейске красная цена – десять алтын²⁶. Это была первая, хоть и поздняя, добыча. Правда, по наказу передовщика Синеулька сделал еще шалаш в днище пути от последнего стана. За несколько ходок ватажные перетаскивали туда весь груз.

Небыстро продвигалась ватажка к верховьям реки. Тунгусы встречались часто. Они кочевали родами в два-три чума: с женщинами и детьми, бывало, человек до двадцати. При встречах охотно торговали с промышленными.

Ночами от лютой стужи с грохотом разрывался лед. По утрам по долине реки, к которой с двух сторон подступали кряжистые ели и сосны в два обхвата, дул пронизывающий ветер. К полудню так ярко светило солнце, что птицы, и даже воронье, поднимали галдеж в густых ветвях деревьев.

²⁶ Десять алтын – тридцать копеек.

Собаки подавали голоса то с одного берега, то с другого. Пока хватало мяса, Пантелей не отпускал Синеуля на промысел, заставлял тянуть нарту. К вечеру собаки прибегали к костру злыми, с ненавистью глядели на новокреста. Синеуль по-тунгусски оправдывался перед ними. Жаловался спутникам:

– Уйдут! Осерчали, что мы не охотимся! Ругают меня.

Псы зарывались в снег, глядели на огонь пристальными волчьими глазами, молча водили усами, дожидались обглоданных костей. И правда, что-то менялось в их мордах.

– Уйдут! – стонал Синеуль и крутил лохматой головой. – Вон как глядят, – кивал на собак и снова начинал разговаривать с ними. Псы же на его слова только равнодушно шурились, не соизволяя шевельнуть хвостом или прижать уши.

В среднем течении реки ватажные шли две недели, никого не встречая. За поворотом следовал новый поворот. Берега были круты. В иных местах к ним подступали скалистые гривы с лесом. Река подо льдом все круче поворачивала на полдень.

– До самых верховий идти? – то и дело переспрашивал старого Омуля передовщик.

Старик терпеливо чмокал стерляжьими губами, равнодушно оглядывал окрестности, повторял уже сказанное:

– Исток далеко! Там, сказывают, кызыльцы кочуют или киргизы. Не слышал, чтобы кто оттуда возвращался. А мы, как стрелку пройдем.

– Так прошли уже, – напоминал передовщик.

– Правый приток тунгусы Чуной зовут, – невозмутимо продолжал сюсюкать старик, – как повернет на полдень – Кызчак будет, по-кызыльски – бабьи титьки, гора такая. Промеж тех каменных титек волок.

– Да ты, поди, забыл, какая она, баба? – язвил передовщик, испытывая старческую память, которой не очень-то доверял. – А то и не знал вовсе. Про медвежьи, поди, сказываешь, а мы, как дураки, высматриваем бабьи.

– Как не знал? – беззубо посмеивался старик. – В Мангазее со стрелецкой женой прелюбодействовал с месяц. Ох, сладко любила меня, – пускался в воспоминания, которые ватажные слышали уже не раз.

По неписаным законам старых промысленных говорить в тайге про женщин и девок запрещалось. Но ватажка была малой, подступала весна, а обещанного волока все не было. Шутливая перепалка передовщика и старика бередила сердечную рану Угрюма. Он то и дело вспоминал Меченку, пренебрегшую им. Ненавидел эту злую хитрую девку, но, глядя на старика, опять ужасался бесприютной старости, которая могла ждать и его самого.

Задула Евдокия-свистунья. Пришла весна. Почти не потеплело, но с полуденных земель ветер уже доносил запахи талой земли и перепревших трав. Михей пытливо поглядывал на повеселевшие лица спутников и с важностью поучал:

– Месяц марток наденет пять порток!

Синеуль кривил тонкие безусые губы. По своим тунгусским приметам он называл, какой нынче снег и какая весна. У русичей зима исчисляется по святым, у тунгусов – по снегу, который имеет десятки названий.

Собаки ушли. Не было их день и ночь и еще день. Но к другому вечеру они все-таки вернулись. Улеглись в стороне от костра, глядели на людей пристально, как волки. На днях Пантелей с Угрюмом пробовали запрячь их в бечеву, и, как ни погоняли, собаки не понимали, что надо тянуть нарту: ложились на снег или сидели, показывая, что не дураки дергаться, когда привязаны.

– Утром совсем уйдут! – безнадежно всхлипнул Синеуль. – Делай дневку! – попросил передовщика. – Или отпусти меня.

– Спешить надо! – не соглашался Пантелей. – Вот перевалим по насту за гору, тогда... А собак на ночь можно привязать.

Привязали. Те подергались и стали грызть бечеву. Привязали волосяной веревкой. Собаки среди ночи так завыли, не давая людям уснуть, что Пантелей выполз из-под одеяла, отвязал их и успел поддать ичигом под зад одному из псов. Не было их день, другой и третий.

– Обиделись и ушли совсем! – объявил Синеуль, сдвинул к переносице брови, набычил шею, как передовщик. – Куда смотрели, мать вашу еть? – строго спросил его голосом. Склонил голову, вытянув шею, выпятил губы, становясь похожим на старого Омуля: – Се имя голодным? Ума-то нету. Тунгусу нас рзаной припас – тьфу! Того и гляди – сам сбезит.

Сипло захохотали промышленные. Угрюм смеялся громче всех. Его Синеуль тоже передразнивал, но ему казалось, что не так похоже, как других.

Неделю шли без собак. Волокли нарты целыми днями, ночевали без крова у костров. Готовясь к очередному ночлегу, новокрест начал было разгребать плотный снег, но вдруг вытянул шею, прислушался.

– Собаки! – прошептал. Затрепетали ноздри приплюснутого носа.

Принюхался и Угрюм. Студеный ветерок донес запах дыма. На извилине реки, возле мыса, стояли два тунгусских чума, берестяная юрта и бикит²⁷ в шесть стен, покрытый плоской крышей. Срублен он был сикось-накось.

К промышленным вышел длинноволосый мужик со скуластым обветренным до черноты лицом. Волосы его были сплетены и висели короткой косой между плеч. Он оглядел прибывших, приветливо кивнул. Земля вокруг чумов была ископчена скотом. На стане витал непривычный для тунгусов запах коней.

Синеуль переговорил с мужиками и сообщил, что они братские кыштымы²⁸, а сам стал с упоением лопотать, о чем-то им рассказывая. Пантелей и Угрюм прислушивались, пытаясь хоть что-то понять. Но новокрест тараторил слишком быстро. Из чумов и из леса вышли еще четыре мужика, стали внимательно слушать Синеуля. Неприязни к гостям они не показывали. Откинув полог, из чума вышла женщина с берестяной люлькой на шее.

Наговорившись, Синеуль стал пересказывать ватажным, что илэл²⁹ пришли с Подкаменной Тунгуски. Там они перессорились с родней, а здесь с тунгусами не породнились. Живут небедно: родственники сочли бы их за богачей. Но вынуждены пасти табун братских людей и по уговору далеко не кочуют.

Ватажных они пригласили в чум. В нем возле тлевшего очага управлялись две жены князца. Из-за полога выглядывал немощный, седой и сморщенный старик. Хозяин с важностью усадил гостей на шкуры. В чум влезли еще четыре мужика. Под кровом сразу стало тесно и душно. Тунгусы скинули парки, оставшись до пояса голыми, и начали расспрашивать Синеуля о Енисейском остроге, про который до них доходили разные слухи. Новокрест отвечал степенно, важно надувал шею, хмурил брови, подражая Пантелею. Он долго и многословно говорил, как хорошо живут лучи, какой у них сильный царь.

Тунгусы слушали его и бросали тоскливые взгляды на молчавшего Пантелея. Князец пояснил, что они тоже хотели бы платить царю ясак, чтобы не сидеть на месте с братскими конями. Но без братьев их здесь все будут бить и грабить.

Ни о каком волоке между гор, похожих на женскую грудь, они не знали. Но знали конную тропу, по которой братья ездят грабить кызыльцев, киргизов и тунгусов, а те – братьев. Обещали дать вожей.

Промышленные переночевали в берестяном чуме, обменялись подарками и поволокли свой груз дальше на полдень. Указанным путем они перевалили к истоку какой-то таежной речки среди лесистых гор, и тут старый Омуль узнал гору:

²⁷ Бикит – дом из бревен (*эвенк.*).

²⁸ Кыштымы – зависимые от инородцев.

²⁹ Илэл – самоназвание эвенков.

– Вон они, про которые сказывал! – показал рукой на две скалы с острыми вершинами. Пантелей грозно крикнул:

– Это рога, а не титьки! Между них никакого волока не может быть!

– Мимо! – спохватился старик, виновато переминаясь. – Запомню. Это когда я был здесь? Упомни-ка все.

По словам старого промышленного, лет пятнадцать назад, возвращаясь с Ангарских порогов, ватага промышленных в этих местах спрятала струги. Передовщик сомневался, что старик найдет те суда. А если они и нашлись бы, то целы ли после стольких лет? Строить новые лодки нужно было здесь и до вскрытия реки.

Ватажные разбили табор, поставили шалаш. На другой день Пантелей отправил Синеуля добыть мясной припас. Угрюма он оставил на стане сторожить добро, а сам со стариком отправился искать струги. Они вернулись к вечеру. Передовщик был весел и придерживал под руку Михея, чуть живого от усталости. Старик доплелся до костра и упал, отказываясь от еды.

– Стоят! Целехоньки! Берестой укрыты. Рассохлись, конечно. Но один из двух собрать можно, – радовался Пантелей.

Наутро ватага сложила груз в нарты и по хрусткому чернеющему льду речки пошла на новое место. К полудню на льду появились лужи. С каждым днем становилось все теплей. Но весь груз был доставлен к месту по льду.

Струги были сделаны по старине: на долбленных основах наращены тесовые борта. Кое-где тёс замшел и сгнил, в иные щели лезли пальцы. Но это ничуть не смутило передовщика. Он заставил Михея с Синеулем копать березовые корни в мерзлой земле и варить смолу. Сам на пару с Угрюмом разобрал оба струга, ощупал и проколол всю древесину.

– За неделю управимся, а то и раньше, – радовался, разглядывая работу незнакомых, уже состарившихся людей. Окликнул старика: – Когда ты здесь был?

Омуль откладывал свою работу, начинал шевелить губами, загибал пальцы, чесал морщинистый затылок с редкими свалявшимися волосами. Отвечал неуверенно:

– Енисейского не было. А Тимофей жил в скиту. У меня зубы были крепкими. Кости еще грыз, что пес!

– И горячее вино хлестал кружками! – добродушно посмеивался передовщик.

– Да уж это как водится, – смущался старый промышленный.

Оттаяла земля. Тайга заблагоухала сладким духом березового сока. Промышленные стали запаривать в нем брусничный лист, взятый из-под снега. За неделю они не только собрали и просмолили струг в три пары весел, но и по-тунгусски сшили из бересты ветку – легкую завозную лодку.

Вскрылась река и вскоре очистилась ото льда. Затосковавший на одном месте Синеуль засутился, предвкушая перемены. Работал он меньше всех и больше всех бегал по лесу, выслушивая глухариный ток. Пантелей боялся потерять толмача, не хотел, чтобы тот прибил к чужому роду, прельстившись молодой тунгуской. Весна она для всех весна. Даже старый Омуль глядел на стылую воду, волнуясь, шевелил губами, глубоко вдыхал весенний воздух и надеялся на что-то свое.

Прежде, бывало, слова из него не вытянешь о Великом Тёсе. Если и вспоминал о прошлом, то о гульбищах, торговых банях с суспенками³⁰, добрых и злых воеводах. А тут заговорил, как поднимался со стругами по Верхней Тунгуске до Большого Каменного порога, через который его ватага пройти так и не смогла. Вспоминал, что промышленяли они соболя возле братских улусов. Весной двинулись вверх по притоку этими самыми местами. Легкого волока не нашли, бросили струги и другую зиму промышленяли на Тасее, а к весне сплыли к Енисею плотами.

³⁰ Бани с суспенками – платные бани при острогах и слободах с продажей легкого хмельного напитка.

Говорят на Руси: «Пришел Пахом – пахнуло теплом». На святого Пахомия-бокогрея, помолясь Николе Чудотворцу да Святой Троице и всем святым покровителям, промышленные столкнули на воду тяжело нагруженный струг. Он степенно закачался на стылой воде, пахнувшей льдом и рыбой.

– С Богом, что ли? – еще раз перекрестился Пантелей. Сел на корму. Течение понесло судно с мотающейся за кормой веткой. Речка не была бурной, хотя и текла между гор. По берегам из-под желтеющего покрывала прошлогодней листвы буйно пробивалась зелень. Над отогревающей землей, еще скромно и в одиночку, вставали на крыло комары.

Впереди зашумел пережат. Передовщик велел подождать струг к берегу. В промазанных дегтем бахилах вошел в студеную воду, пошарил по дну шестом и указал, где разбирать камни. Старика жалели, он сидел в струге и виновато водил по сторонам влажным носом. Трое работали до ломоты в суставах, пока не протолкнули струг через каменистую отмель. Наконец снова поплыли, поминая добрым словом святых своих покровителей.

На устье река широко разливалась по долине. На сочной траве стояли три тунгусских чума. Вдали, возле леса без травы и кустарника, но с пышным покровом мха, паслись олени. Завидев плывущих по реке, на берег выскочил тунгусский мужик с длинными волосами, собранными на затылке в пучок, замахал руками. Промышленные налегли на весла и приблизились к берегу.

– Спроси, какой товар нужен! – наставлял Синеуля передовщик. – Чтобы попусту не доставать мешки, как в прошлый раз.

Новокрест прытко выскочил на сушу, весело затараторил с тунгусом.

– Здесь по-другому говорят! – крикнул передовщику. – Половину только понимаю. Лося без нас поделить не могут! Вот и зовут.

Старик с Угрюмом остались при судах. Синеуль с передовщиком ушли в лес следом за тунгусом. Пробыли они там долго и вернулись с большим куском мяса. Синеуль смешливо бранил Пантелея:

– Я бы у них ребра забрал! А ты взял шею – самое плохое мясо.

– Они бедные! – оправдывался передовщик. – А мы не голодаем.

– Приходим, – стал азартно рассказывать новокрест Угрюму с Михеем. – Узкоглазые мясо поделить не могут. Не верят друг другу: каждый для своих родственников лучший кусок хочет взять. А нам что тот, что этот. Так поделили, что все остались довольны.

– Не бреш! – огрызнулся передовщик.

– Все равно довольны. Нам давали лучшее мясо, а он, – кивнул на передовщика, – шею взял. Мне-то что? – Цыкнул сквозь зубы: – Этыркэн³¹ Омуть без зубов. Ему жилы не перегрызть. Ну и тупой у нас передовщик, прямо как русский!

– Это енисейские тунгусы! – досадливо отмахиваясь от толмача, стал оправдываться перед стариком Пантелей. – Они бывали на устье Ангары, видели острог. Говорят, по реке и внизу и вверху – скалы. Те, что вверху, берегом не пройти, а обходить далеко. А за ними живут братские конные люди в войлочных юртах. Скота у них много. А еще сказывают, верь не верь, – блеснул глазами, – за каменными щеками среди братских мужиков есть бородастые шаманы.

Ватажка ночевала на берегу, выше устья речки, по которой сплыла с верховий. Полноводную Ангару промышленные узнали по запаху и цвету воды. Михей припомнил, что сюда от устья в прежние времена он шел бечевою месяца полтора. На этот раз, прямым путем, они шли четыре месяца, правда, с большим грузом, да еще промышляли в пути.

С порогов доносился гул ревушей воды. И был он так силен, что приходилось напрягать голос, разговаривая у костра.

³¹ Этыркэн – старик (*эвенк.*).

– Ну, вот и привел, куда говорил, – важно выкрикивал старичок, по-петушиному вытягивая шею, оглядывал Пантелея с Угрюмом выплывшими рыбьими глазами. – Дальше я с большой ватагой не смог подняться. А как вчетвером? Ой не знаю! – тряс седой бородой и скоблил пятерней морщинистый затылок. – Дальше не был, врать не буду! – прокричал и выдохся, уронив голову на грудь.

Утром передовщик ушел глядеть порог. Синеуль с луком убежал на промысел. Михей с Угрюмом остались на таборе караулить струг с животами. Припекало солнце, начинал лютовать оживший комар. Плескалась рыба у берега. Угрюм вырезал удилище, пошел кромкой воды. Одной рукой закидывал крючок, другой отмахивался от гнуса. Старик замесил тесто и выставил квашню на солнце. Передовщик велел ему напечь хлеба впрок.

Вернулся Пантелей только к вечеру. Бросил у костра пищаль и топор, весело объявил:

– Даст Бог, пройдем! Бечевник плох. Местами, у воды, и вовсе отвесный камень. Щеки! А волочься верст с десять.

Михей прислушивался к его словам, приглушенным грохотом воды, вытягивал шею, морщился, недоверчиво качал головой, шевелил стерляжьими губами в седой бороде. Вечером Пантелей перещупал бечевы и веревки, сделал из речного камня завозные якоря.

Вернулся Синеуль, обвешанный набитой птицей. Передовщик, вместо того чтобы похвалить толмача, стал ругать его. Куда, дескать, девать лишний припас, когда каждая гривенка³² в тягость, а бросить – лешего обидеть.

Синеуль спорить не стал, щипал птицу и пускал перья по воде. Михей начал печь на углях тушки. Насытившись, промышленные рано легли спать, а поднялись затемно. Помолвившись, подкрепились едой и питьем. С молитвами потянули струг и берестянку против течения. Угрюм с Синеулем шли на бечеве, Пантелей с Михеем проталкивали судно шестами. После легкого сплава конский труд бурлака был тяжек.

Увидев первые буруны, Угрюм слегка повеселел: ему показалось, что пройти их не так уж трудно. Но за поворотом реки открылся новый плес со страшными камнебоями. И почудилось ему, что время остановилось.

Десять верст ватага шла два дня: то бечевой и шестами, то завозом якорей. Вышли-таки на чистую воду, на пологий берег, где можно было просушиться. Грохот воды так усилился, что без крика ватажные не слышали друг друга.

Передовщик объявил дневку и отдых. На этот раз он отправился осмотреть другой порог с Угрюмом. Они ушли утром с ружьями, бросив табор на Омуля и Синеуля. Идти возле воды долго не смогли, пришлось лезть на отвесную скалу. Сверху сыпались камни и выглядывали горные бараны с гнутыми рогами.

Когда Угрюм смог увидеть разлив реки, он боязливо поежился. Большая вода с ревом скатывалась вниз, пенясь и клокоча возле торчащих камней. Промышленный взглянул на передовщика растерянными глазами и не увидел в его лице прежней бесшабашной удалы, зато приметил в густой бороде, возле скрытого ей шрама на скуле, седой клочок волос. Пантелей глядел вниз и с остервенением скоблил ногтями этот рубец. Метнув на Угрюма быстрый взгляд, указал на скалу.

Полезли выше. Лезли долго, распугивали ленивых баранов и коз, удивленных появлением людей. Открылся вид на весь порог. Дальше него река текла спокойно, без единой волны. О том, чтобы обнести скалы посуху, не могло быть и речи: гора тянулась сколько хватало глаз. «Разве на себе через гору все лето таскать животы, а к зиме построить новый струг?» – растерянно размышлял Угрюм.

Он уже подумывал о возвращении, но Пантелей склонился к его уху и закричал, указывая пальцем вниз:

³² Гривенка – единица веса 400 г, ¼ пуда.

– Три прохода есть. Вон за тем камнем вода стоячая. Вокруг бушует, а там только крутит. Угрюм кивнул, не понимая, к чему этот разговор. Пантелей махнул рукой, успокаивая его, наверное, увидел страх на лице спутника.

Они спустились с горы тем же путем и вернулись на табор. Синеуль пек на рожнах вчерашнюю уже подванивавшую тухлятиной птицу. Михей лежал, лениво отмахиваясь от гнуса.

– Даст Бог, пройдем! – прокричал Пантелей без обычной уверенности. – Крутой! Зато не такой долгий, как тот, – мотнул бородой в сторону пройденного порога.

– А как не пройдем? – с сомнением вскрикнул Угрюм.

– Разобьет в щепки! – усмехнулся передовщик. – Животы потопим. Кто живым выплывет – к братьям или к тунгусам в холопы. А что еще? – вскинул глаза, и они сверкнули льдом.

У Угрюма захолодело в кишках. Он вспомнил свой мешок с клейменными соболями, пустячную добычу этой зимы, бесконечное перетаскивание хлебного припаса. «И чего в Енисейском не жилось?» – подумал с тоской. Прежние обиды показались ему глупыми, надуманными, а то, что теперь он никуда не мог уйти от своих бесноватых спутников, – было очевидным.

– Можно и здесь промышлять! – попробовал спорить. Но не был услышан.

– Дедушку³³ надо задобрить! – крикнул передовщик Синеулю. – Перья по воде пускал – только раздражил!

– Нашему водяному – перья на одеяло, – приплясывая, заскоморошничал новокрест. – Вашему этого, – шевельнул ногой убитого гуся с поблекшим пером.

– Нашему только свежего да живого! Добудь тупой стрелой! – приказал передовщик и выругался: – Хрен знает, какого роду-племени здешний дедушка. Но зол, мать его еть!

Синеуль подхватил лук и ушел вниз по реке. Вернулся он только к ночи, в мокрой одежде. Двумя руками прижимал к груди завернутого в кожаную рубаху дикого гуся. Птице тут же связали лапы и крылья.

– Люби и жалуй, дедушка, нашу ватажку! А мы тебе гостинец посылаем, – неслышно прошепелявил Михей тонкими рыбьими губами и бросил под водопад бьющуюся птицу. Раз и другой показались из пены птичий клюв да гузка, затем гусь исчез в глубине реки. Примета была хорошей: водяной охотно принял подарок.

Утром, едва промышленные люди подошли к порогу, старый Омуть осмотрел клокочущий поток и закричал, выпячивая стерляжьи губы:

– Узнал! Не через те, через эти щеки не смогли пройти два десятка промышленных.

«Наконец-то и старик испугался!» – боязливо порадовался Угрюм, надеясь вразумить Пантелея с Синеулем.

Передовщик мимоходом обернулся, но он уже никого не слышал, глядел на торчавшие из воды камни, на крутой перепад воды. Глаза его горели, как перед боем, и выискивали верный путь. Он перепрыгнул в ветку, приткнутую к берегу, кивнул Угрюму, чтобы следовал за ним. Тот покорно перешел в шаткую лодчонку. По-кетски опустился в ней на колени, сев на пятки, взял шест в руки.

Выпуская за собой бечеву, двое на шестах стали проталкиваться против ревущей воды. Всякое неверное движение могло развернуть берестянку поперек течения, а боком ей против волны не устоять. Но Бог миловал, а водяной не вредил, и Пантелей с Угрюмом дошли до первого камня. Под ним, в затишье, бросили якорь, закрепились и потянули на себя тяжелый струг. Михей с Синеулем проталкивали его шестами против течения.

Потом был другой завоз и третий. Берестянка опрокинулась. Угрюм выплыл к стругу, болтавшемуся на якорю. Пантелей, с мокрой скрученной в веревку бородой, цепко ухватился за скалу, зубами удерживал бечеву с перевернутой веткой. Синеуль с Омудем да мокрый Угрюм

³³ Дедушка – водяной дух.

шестами подогнали к нему струг. Наспех отжав одежду, двое снова сели в берестянку, стали проталкиваться дальше против беснующейся воды.

Когда прошли порог и приткнули струг к пологому берегу, Угрюм упал вниз лицом и лежал, подрагивая в сырой одежде, пока не ооченел. Потом поднялся. Все пережитое за день казалось приснившимся кошмаром.

Михей лежал на спине и тяжело охал, глядя в небо. Синеуль валялся кулем, как покойник. Похоже, русская жизнь новокресту изрядно надоела, но ему, как и Угрюму, бежать было некуда. Мягко, но крепко привязал их всех к себе бесноватый передовщик.

Пантелей без шапки, с мокрыми волосами на плечах, с вислой бородой крошил ножом трут, выискивая в нем сухое место. Угрюм поднялся на подрагивавшие ноги, поплелся к кустарнику набрать дров для костра. Надо было сушиться.

Едва закурился дымок над сухими ветками, поднялся и старый Михей. Оставляя за собой мокрый след, на карачках подполз к огню, стал сдирать с себя скользкую, как кишка, кожаную рубаху.

– Истинно сказано, – всхлипнул, выпячивая тонкие губы, – кто горя да смертушки своей в лицо не видывал, – тот искренне Богу не маливался. Коли на этот раз попустил Господь пройти щеки, не утопил, мне уж назад не вернуться!.. И не надо!

Угрюм еще раз сходил за дровами и тоже стал стягивать с себя мокрую одежду, отжал и развесил ее у огня. Не отмахиваясь от гнуса, пошел к стругу, нашарил мешок с рухлядью. Он был сухим. От этого полегчало на душе и прибыло сил. Повеселев, Угрюм вернулся к костру и начал сушиться.

– Мешки с рожью надо перебрать! – устало приказал передовщик.

Никто не кинулся исполнять наказ. Синеуль поднял голову. Он не умел плавать, а за бортом нынче побывал два раза.

– Как в воду свалился, открыл глаза, вижу – дедушка с русской бородой. Да как хрястнет меня по морде моим же гусем! – Он болезненно приложил пальцы к заплывшему глазу. Под ним кровоточила ссадина.

– Видать, святой Никола был! – как от пустяка, отговорился Пантелей и повторил: – Надо рожь перебрать! Вы готовьте дрова, – кивнул Синеулю и Михею. – А ты к стругу, – строже приказал Угрюму.

На другой уже день Угрюм снова шел на бечеве. Плечо к плечу рядом с ним шагал Пантелей. Хоть и передовщик, но в малой ватажке ему приходилось работать на равных со всеми. Поднял младший Похабов голову, огляделся – вокруг горы, покрытые густым лесом, впереди пологий берег, видно устье притока, разметавшего гладкие, обкатанные водой камни.

Снова хрустел под ногами окатыш. Промазанные дегтем бахилы к полудню размокали, сползали на щиколотки, чавкали и волоклись комьями налипшей грязи. На передовщике – шлычок из кожи: шапку он утопил на пороге или дедушка ее забрал. Плохая примета, может и голову потерять.

Но Пантелею все нипочем. Он знай себе шагает. А куда? Зачем? – обидчиво раздумывал на ходу Угрюм. Морок ему не морок, приметы не приметы, а спокойная человечья жизнь не жизнь.

Он обернулся. Омуль с Синеулем на корме струга с двух сторон упирались в дно шестами. У Михея глаза, лоб и нос были черными от дегтя, которым старик спасался от гнуса. Синеуль своим безбородым вспухшим от гнуса и купания лицом походил на прошлогоднего покойника.

Сквозь отдаленный гул порога, который все еще был слышен, почудился Угрюму конский топот. Пантелей тоже насторожился, вскинув голову, остановился. Оглядываясь, подтянул струг к берегу, вытащил из-под кож саблю, повесил на бок. Велел взять заряженные пищали и запалить фитили. Место было открытым. Выплывать на середину реки, чтобы быть затянутыми в пройденный порог, никому в голову не приходило.

К стругу рысцой приближались два десятка всадников. Одеты они были в камчатые халаты и высокие остроконечные шапки. На затылках мужиков висели косы. Вооруженных среди них Угрюм не заметил.

В пятидесяти шагах от струга конные люди почтительно остановились, стали разглядывать пришельцев. Четверо из них спешили. Раскачиваясь всем телом, переваливаясь с боку на бок, заковыляли к стругу тяжелой походкой урожденных всадников. Пантелей зашипнул фитиль и положил пищаль на борт. Синеуль снял с тетивы лука стрелу.

Конные люди безбоязненно подошли к ним и гортанно о чем-то залопотали. Пантелей обернулся к Синеулю. Тот поприветствовал послов по-тунгусски. Напрягая лицо, прислушался.

– Будто зовут нас куда-то, – сказал неуверенно. – Похоже, давно ждут! – пожал плечами, удивленно взглянул на передовщика.

Не обращая внимания на Синеуля и старика, мужики стали хватать за рукава Пантелея и Угрюма. Тянули их к всадникам, указывая на них руками, лопотали: «боо! боо!» Никакой угрозы в их голосах не было.

– Ничего не пойму! – замотал бородой передовщик, поглядывая на Синеуля. – Боо – у братьев зовутся шаманы... Скажи, пусть тунгусского толмача приведут! – Знаками стал спрашивать тянувших его мужиков: – Чего надо? Зовите толмача, – ткнул пальцем в язык.

Тут всадники дружно закричали, указывая руками вверх по течению реки. Пешие обернулись. По Ангаре плыл небольшой плот. На нем с шестами в руках подгребали к берегу два бородача в обычной кожаной одежде промышленных. Но головы их с волосами ниже плеч были покрыты черными скуфьями.

– Не Ермогена ли с Герасимом Бог послал? – ахнул передовщик, вглядываясь в плывущих из-под руки.

Послы, забыв про ватажных, вразвалочку побежали к своим лошадям. Другие с радостными криками уже рысили к плывущим. Всадники подъехали к самой воде, бросили на плот несколько волосяных веревок. Бородачи ухватились за концы. Кони потянули плот к берегу. Следом за всадниками, придерживая саблю на боку, побежал берегом Пантелей. Он обошел стороной толпившихся людей и оказался в их первом ряду.

– Глазам не верю! – вскрикнул, раскидывая руки. – Вы ли, батюшки? Живые?

– Ой! – взглянув на Пантелея, ударил себя по лбу чернобровый, слегка пучеглазый бородач. – Не с тобой ли встречались позапрошлой осенью? Еще хотел с нами остаться, да ватага воспротивилась?

– Со мной! – рассмеялся Пантелей. – По молитвам Бог опять привел!

– Вы уж нас дождитесь! – торопливо оглядывая русских людей возле струга, попросил монах. – Мы сплыли по приглашению – поспорить с попами желтой веры.

Окруженные всадниками, монахи ушли. Ватажные бечевой и шестами поднялись против течения реки еще на версту. Здесь передовщик велел отдыхать и стеречь добро. Сам перепоясал кушаком кожаную рубаху, стал собираться в гости.

– Хочешь, оставайся и жди, – кивнул Угрюму. – Хочешь – со мной иди! – сунул топор за спину и подтянул бахилы.

Угрюм с недовольным видом поводит носом: солнце было еще высоко, место для ночлега худое, топкое. Но любопытно было поглядеть, как русские монахи проповедуют в братских улусах. Он поменял бахилы на чирки, сунул за кушак топор и пошел следом за передовщиком.

На поляне, скрытой от струга полосой прибрежного леса, дымил костер. Гольный, объединенный скотом склон лысого холма был вытоптан и исполосован тропами. Под ним собралось до полусотни братских мужиков: одни лежали на солнце, другие сидели у костра. На огне висел большой черный котел. Двое молодых мужиков в камчатых халатах с закатанными рукавами

свежевали зарезанного бычка. В отдалении паслись низкорослые и кряжистые кони. Среди них было несколько высоких тонконогих скакунов.

Посередине поляны из земли торчал свежеструганный заостренный кол. На нем болтались белычьи и соболю хвосты. В стороне на расстеленном войлоке с важными лицами сидели бритоголовые и босые мужики. Тела их были покрыты длинными отрезами шелка. Против них, по другую сторону от кола, тоже на войлоке, сидели русские монахи и тихо говорили между собой. Тех и других с равным вниманием и заботой окружали братские мужики.

Пантелей с Угрюмом, привлекая внимание собравшихся своим видом, подсели поближе к черным попам. Братский мужик в богатой шапке что-то гортанно крикнул, и гул голосов утих. Даже свежевавшие бычка склонили головы, стали медленней и осторожней делать надрезы окровавленными ножами.

– Во имя Отца и Сына и Святого Духа! – поднялся чернобородый поп. Спутник его с ясными, синими глазами, присев у костра, похватал пальцами угольки и подбросил их в кадило. Пряно запахло ладаном.

Зажгли свои кадильницы и желтые монахи. Стали кланяться, сложив ладони у подбородка, бормотать молитвы. Душисто повеяло дымком с их стороны.

Обходя собравшихся людей, те и другие долго читали молитвы. Светловолосый Герасим помахивал кадилом. Бритые монахи макали пальцы в молоко и брызгали по сторонам. Чернобородый Ермоген часто перемежал православные молитвы братской речью.

После молений желтый поп с усмешкой на губах стал что-то быстро говорить, обращаясь к слушающим. В ответ раздался приглушенный смех. Ермоген так же, по-братски, отвечал ему, жестом призывая в свидетели всех слушающих его. Смех зазвучал громче с обеих сторон.

Пантелей с Угрюмом из сказанного ничего не понимали, но догадывались по лицам, что попы высмеивают друг друга, а братские мужики слушают их и потешаются. Слово к слову, спор шел все жестче и злей. Смех собравшихся становился все язвительней.

Лица желтых попов стали кривиться от неприязни к бородатым. На их речи они то и дело отвечали резкими выкриками. Монахи же насмешливо лопотали с непринужденными лицами. Толпа хохотала.

На костре варилось мясо. Сытный дух свеженины растекался по поляне. Разделавшие бычка молодцы помешивали в котле, следили за огнем и прислушивались к спору, то и дело замирали, азартно разевая рты, или тряслись от смеха.

Один из желтых монахов с озлившимся видом схватил ком земли и запустил в Ермогена. Тот не стал уклоняться и принял удар намеренно. Ком рассек ему бровь. Густая кровь закапала на обветренную щеку. Ермоген стоял и торжествующе улыбался, показывая победу поднятыми руками.

Браты с возмущенными криками повскакивали с мест, стали швырять камни в желтых монахов. Те проворно отбежали к табуну, вскочили на оседланных коней, поддали им под бока голыми пятками и ускакали. Никто их не преследовал. Мужики со смехом надели на заостренный кол железное кольцо. При этом отпускали шутки, над которыми сами же и потешались.

Сварилось мясо. Монахи есть его не стали, скромно грызли сухой творог, пили заквашенное молоко. Зато Угрюм с Пантелеем приложились к угощению за себя и за них. Мясо было жирным, мягким, хорошо проваренным. Братские люди предлагали монахам лошадей, чтобы вернуться, откуда пришли. Но те отказались. И когда после пира все стали разъезжаться, они пошли к стругу.

Жар костра жег лица и руки, отгоняя гнус. Светлая сибирская ночь дымкой зябкого тумана опускалась на могучую реку. Ватажные долго не ложились спать: все не могли наговориться со своими людьми.

Монахи выспрашивали острожные новости, радовались учреждению Сибирской епархии в Тобольском городе.

– Наконец-то свет православия достиг Сибири! – взволнованно повторял то один, то другой.

Их до слез трогали рассказы о скитнике Тимофее. Михей Омуть долго и подробно сюсюкал о нем беззубым ртом, говорил с большим почтением и все оправдывался, что оставил старца по его благословию.

– Уж тут кого как Господь призовет и умудрит! – с пониманием утешал старика чернобровый Ермоген. Глаза его не мигая смотрели на угли костра. – Мы тоже от него ушли. Какой прок сидеть всем на одном месте? Надо нести веру тем, кто ждет ее!

– Пока Бог дает силы! – осторожно добавил Герасим.

Миссионеры радовались, что в Енисейский острог, благословением архимандрита Киприана, прибыли три инокини, что там учреждены мужской и женский скиты.

– Без того на одного женатого было десять холостых! – обиженно пробурчал Угрюм. – Если инокини всех девок сманят, кто детей рожать будет?

– Всех не сманят! – снисходительно улыбнулся Ермоген.

Узнав, что перед ними брат Похабова, монахи с оживлением стали расспрашивать про Ивана. Они знали его издавна, в молодые годы вместе с ним претерпели много бед. Угрюм о брате толком рассказать ничего не мог. Больше говорил Пантелей.

И все же, польщенный вниманием монахов, Угрюм похохатывал, вспоминая, как удирали желтые попы, рассказывал Михею с Синеулем все новые подробности того бегства. Черные попы опечалились, почувствовав лезть.

– Не всегда так бывает! – смущенно оправдался Ермоген. – Нынешней весной и нас маленько поколотили.

Герасим блеснул синими камушками глаз, белозубо рассмеялся и стал рассказывать:

– Это я, грешный, виноват! Про силу Самсона, про его длинные волосы и про жену-инородку братья и тунгусы любят слушать. Бывает, плачут, когда рассказываешь, как он доверился жене, а та ему спящему остригла волосы. А в тот раз Бог попустил, я увлекся: стал рассказывать про то, как он бил врагов ослиной челюстью. А лама-то и посмеялся над нашим богатырем. Братья спросили: какая она, ослиная челюсть? А он достал лошадиную и сказал, что ослиная наполовину меньше. Вот и намяли нам бока!

– Чем кормитесь-то? – полюбопытствовал Пантелей. – У вас и в тот год, когда встречались, никакого припасу не было. Братья хлеб дают? Или как?

– Нет у них своего хлеба! – затаенно вздохнул Ермоген и бросил тоскливый взгляд на котел с булькающей ржаной кашей. – Просо – и то покупают.

Пантелей так и впился в попов заблестевшими глазами:

– Как не сеют? Мы у Бояркана на Елеунэ просо на соболей меняли?

– У них и слова такого нет. Покупают у кого-то! – повторил Ермоген.

– Слышал? – передовщик торжествующе обернулся к Угрюму. – А мне не верили, что видел там русские кочи!

Он вскочил без всякой надобности, но тут же опомнился, притащил к костру сухостойный комель осины. Угрюм раздраженно передернул плечами, замигал выгоревшими ресницами.

– Так вы с тех самых пор без хлеба? – уставился Пантелей на монахов. – Мяса не едите. На одной рыбе, что ли?

– Говорил Господь ученикам своим, – уклончиво отвечал Ермоген, – «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться: Душа больше пищи, и тело – одежды».

– «Посмотрите на воронов: они не сеют, не жнут; нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их; сколько же вы лучше птиц?» – с печальной усмешкой продолжил Пантелей. – Мы это тоже знаем, но много видели, как помирают от голоду.

– Веры не хватило! – буркнул Ермоген, показывая, что не желает об этом говорить.

Пантелей, недоверчиво покачивая головой, думал о своем. Угрюм мялся, краснел, не решаясь спросить о том, что было на уме. Михей пялился на монахов доверчивыми собачьими глазами, чмокал выпяченными стерляжьими губами. Синеуль равнодушно прислушивался к разговору.

Неловкое молчание затянулось. Передовщик вздохнул и пробормотал с печалью:

– «Ничего не берите на дорогу: ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды». Да уж! Это святым говорилось, не нам, грешным!

– Там, на Иордане, народу было густо! – прошамкал Михей. – Здесь ведмеди не накормят!

– У нас и топор, и котел есть, и шубейки! – весело отозвался Герасим. – Есть снасти, чтобы рыбу ловить. Опять же без ножа не обойтись, хоть бы и заболони надрать или корней накопать.

– Все равно, вас Бог ведет!

– Ведет, конечно! – согласились с передовщиком монахи. – Молоком, творогом да маслом буряты кормят, тунгусы последнего не жалеют – всегда поделятся. Добрые здесь народы.

– Многие из них до нас были приготовлены к Слову Божьему, – помолчав, добавил Ермоген. – Своим шаманам изверились, ищут новой веры. Тунгусы, правда, слушают охотно, но остывают быстро. Рассказывают про своих духов, которые будто сильнее чужих богов.

Синеуль слушал и посапывал, бросая затаенные взгляды на монахов, которые крестили его при прошлой встрече. Они же с любопытством поглядывали на инородца с потертым кедровым крестом на груди, часто обращались к нему, выделяя вниманием. Он помалкивал, пока не вспомнили его единокровников:

– Глупые они и темные! – просипел зло.

– Синеулька тоже проповедовал среди родни на Нижней Тунгуске, – рассмеявшись, пояснил Пантелей. – А родня прогнала его взашей.

По словам монахов, зимовали они у Аманкула – главного братского хана, который называл себя младшим братом мунгальского царевича. Он звал их с собой в горы, на летние пастбища. Но они решили проповедовать по Ангаре, которую братья называют Мурэн. Поплыли от зимних пастбищ Аманкула на плоту, вниз по течению. Где был народ, там приставали к берегу и жили, проповедуя Слово Божье.

– Вот и встретились! – весело сверкнул глазами передовщик. – Обещал догнать при прошлой встрече и догнал.

– На все воля Божья!

– Хлеб у нас есть, и если вам все равно куда идти, идите с нами к верховьям реки! – предложил с жаром. – Если не найдем там своих русских старожилов, я пойду в верховья Еленуэ. Ну, а вы как знаете!

Угрюм обиженно засопел. Он был не какой-нибудь покрученник, а пайщик, как и сам Пантелей, но передовщик даже не спросил его согласия принять монахов на свои корма.

– Сдается мне, – Герасим тряхнул русыми кудрями, рассыпавшимися по плечам, – что слухи про сибирских русичей – сказки промышленных людей. Хотя. Кто знает? В тунгусском и в бурятском языках немало наших слов.

Монахи переговорили между собой и согласились идти с промышленными куда Бог приведет и покуда они будут полезны друг другу.

– Вам ведь надо туда, где зверя больше, а народу меньше. Аманкуловские старики говорили, где-то в верховьях реки, неподалеку от моря Байгал-далай³⁴, есть торжок. Будто там братья, мунгалы, тунгусы собираются и даже бухарцы с товарами наезжают. Нам бы туда!

– Где народ, там зверя нет! – степенным баском напомнил о себе Угрюм.

³⁴ Байгал-далай – старое бурятское название Байкала.

Перед тем как отойти ко сну, промышленные с монахами прочли Трисвятое и молитвы на сон грядущий ангелу-заступнику и Николе Чудотворцу. Синеуль с Михеем стали громко зевать. Не выдержав долгого моления, они укрылись одеялами. Угрюм упорствовал, стараясь достоять до конца или хотя бы перестоять передовщика. Но вскоре так утомился, что тихонько прилег возле костра.

Проснулся он, как обычно, на рассвете. Пантелей и Синеуль крепко спали. Михей позевывал и потягивался, часто мигая младенческими глазами. Тихонько ступая по траве, от реки пришли монахи. Капли воды блестели в их бородах, лица были свежи. Они приветливо взглянули на Угрюма и стали раздувать костер.

Взошло солнце. Поднялись заспавшиеся промышленные. Передовщик сладко потянулся, расправил бороду, виновато пробормотал:

– Умаяли ночесь! Старею, что ли?

В первых лучах солнца над рекой розовел студёный призрачный туман. Угрюм подхватил котел, пошел к воде, опустил на колени, ополоснул лицо, зачерпнул. В котле заметалась рыбешка. Угрюм выплеснул её, снова зачерпнул – то же самое. Пошлепав днищем котла по воде, разогнав рыбу, он наконец набрал чистой воды.

На стане монахи опять начинали молитвы.

– Мы рыбки наловим да сварим, – шепелявил Михей, плутовато щуря один глаз. – А вы уж за нас помолитесь.

Передовщик, оглядев плохонькую обувь монахов, хмыкнул, поцокал языком и приказал:

– На шесты встанете, а мы на бечеву. Куда уж в таких чунях идти по воде.

Угрюм метнул на него разобиженный взгляд. Опять Пантелей все решал за него.

Снова они волокли струг против течения. Вшестером идти было легче и быстрее. Черные попы оказались людьми добрыми и покладистыми. Пристали они к ватаге без ужины³⁵, как покрученники. Но Угрюму казалось, что они верховодят им и Пантелеем – вольными своеуженниками.

Сам он никогда не имел призвания к монастырской жизни. Ходил в церковь, как положено от века, но там душа его не ликовала. Исповедовался, чтобы причаститься Святых Тайн, от сглаза, хвори, навета и всяких несчастий. Хорошо знал крутой нрав своего ангела-хранителя. Он не был похож на великомученика Егория Храброго, писанного на иконах. Ангел, которого Угрюм чувствовал в своей душе, был вроде смутно помнившегося трезвого отца: попадешь под горячую руку – побьет без вины, а после вдруг и пожалеет. Всю-то жизнь маялся Угрюм со своим покровителем, изворачивался змеем, чтобы его не прогневить и себя не уморить.

Ватага прошла приток реки, возле которой зимовали монахи. Браты называли его Окой. Здесь промышленные и миссионеры переночевали и пошли дальше, в места никому из них не известные. Поредели леса, положе стали берега. Потом и вовсе открылась безлесная равнина с дымкой гор у края. Людей здесь кочевало больше, чем в низовьях реки. Скота у них было много.

Все чаще ватага устраивала вынужденные дневки и монахи уходили проповедовать. Передовщик обычно шел с ними, чтобы узнать о дальнейшем пути. Бывало, приходилось стоять на одном месте подолгу и появилось время для безделья. Угрюм стал шить для себя сменную обувь, но на одной из стоянок с выгодой обменял ичиги на масло. Ремесло среди здешних народов очень уважалось.

Вскоре к ватажному табору прискакал черный от солнца степняк и показал свою беду: рукоять из березового капа спала с ножа. Угрюм, посмеиваясь, расклинил ее, насадил накрепко на глазах приехавшего мужика. Тот был изумлен, что нож налажен так быстро. Своей

³⁵ Ужина – пай, вносимый промышленным в снаряжение всем необходимым для промыслов.

радости он не скрывал, но ни словом не поблагодарил за пустячный труд. С досадой посмотрел ему вслед Угрюм, однако извлек для себя полезный урок.

Не прошло и двух дней, к табору приехали верхами три мужика: у одного обломился край лезвия топора, у другого треснуло кованое стремя, третьему всего-то и надо было выправить согнутую пряжку подпруги.

Как ни мало знал Угрюм кузнечное дело, понял, что работа ему посильна. Он управился бы с ней и за час, но на этот раз с хмурым видом долго разглядывал поломки, с сомнением качал головой и вертел в руках привезенные вещи. Потом сказал, что если и сможет наладить все это, то не раньше чем на другой день к полудню, а то и к вечеру. Огорченные пастухи разъехались. Вернулись они на другой день по уговору и привезли двух жирных, оскопленных баранов.

После этого случая Угрюм стал с усердием учиться у Пантелея кузнечному делу. Среди здешних народов ремесленнику можно было жить безбедно. Вскоре он стал делать седла. Работа эта была дорогой и уважаемой. Молва о ремесленниках летела впереди ватаги. Черный поп Ермоген с черным дьяконом Герасимом стали посмеиваться: неизвестно, мол, кого больше ждут здешние народы – проповедников или Угрюма с Пантелеем.

На краю степи монахи снова затеяли спор с желтыми попами. Собрался народ, для которого такие встречи были редким развлечением. Ремесленникам кочевники привезли много сломанных седел и всякой утвари.

Съехавшийся народ по обычаю врл в землю заостренный кол. Попы спорили и смеялись друг над другом, потешая мужиков. На этот раз желтые боо³⁶ переспорили православных мисионеров. Браты с хохотом выдернули из земли кол и сломали его. Правда, русских монахов не били и не гнали. Несколько всадников даже проводили их до струга, возле которого работали Пантелей с Угрюмом.

Кочевники расплатились за работу мясом, маслом, сушеным творогом и молочной водкой. К неудовольствию монахов, давно не пившие хмельного промышленные загуляли. Угрюму от того горячего и вонючего вина веселей не стало: кружилась голова, он тупо зевал и маялся животом, пока не уснул у костра. А когда проснулся, то увидел спавшего Синеуля связанным. Михей с Пантелеем глядели в звездное небо и тихо переговаривались. Монахов не было.

– От такой жизни брюхо вырастет, – заплетавшимся языком пожаловался передовщик, – забудешь, кем и для чего родился.

– А по мне – так бы и жить! – ссохшимися губами шепелявил старый Михей. – И чего столько лет по урману шлялся? Все какого-то чуда ждал. После долги отработывал, ради живота ноги мучил.

Синеуль проснулся поздно, его развязали. Он мотал головой, глядел на спутников зло и хмуро, их рассказам о вчерашних буйствах не верил. Вскоре вернулись попы, и ватага двинулась дальше.

Пантелей сшил Ермогену с Герасимом бахилы, и те наравне с промышленными тянули струг бечевой. Синеуль день и другой шел со скорбным видом, ни с кем не разговаривал, и губы его страдальческой подковой гнулись к гладкому подбородку.

Так, ремесленничая и проповедея, ватага неспешно продвигалась вверх по реке. Монахи в берестянке переправлялись с берега на берег, туда, где замечали стада и юрты. На одном берегу жили булагаты, на другом эхириты. Их язык, вид и нравы пришельцы не различали. Иной раз они встречали по берегам кочующие селения мунгальских кыштымов. По тому, что те во всяком бородатом госте предполагали ремесленного или торгового человека, догадывались, что промышленные люди в эти места наведывались.

³⁶ Боо – шаман (*бур.*).

Отлютовал овод, стал ленив комар. Желтый лист лег на воду у самого берега. Блекла зелень лесов. Монахи по своему обычаю не заботились ни о пропитании, ни о зимовке. Синеуль, как все тунгусы, жил одним днем, весело и беззаботно претерпевал трудности. Михей время от времени шурил хитрый глаз, поглядывая на мешки с рожью. Он примечал, что хлебный припас убывает, и почесывал редкие волосы на морщинистом затылке.

К концу августа, на Успенье Богородицы, река повернула на полдень. Один берег был крутым и обрывистым, другой пологим. С одной стороны густой лес подступал к самому яру, с другой береговой кустарник нависал над водой. Места были безлюдными, не пригодными для выпасов скота. Монахи велели поставить стан и объявили, что нынче надо непрерывно молиться. Постилась же ватага по их поучению постом истинным.

Синеуля от ржи и трав так подвело, что он еле таскал ноги в бечеве. Как услышал новокрест, что на Успенье придется поститься пуще прежнего, глаза его слиплись в две щелки, губы сжались в гузку, он стал трубно сопеть плоским носом и мотать лохматой головой.

«Сбежит!» – подумал Угрюм и предупредил передовщика.

Едва ватажные устроили стан и стали стирать одежду на теплом песке, Пантелей велел запечалившемуся тунгусу сходить в тайгу за кедровыми шишками к Ореховому Спасу. Тот радостно схватил свой трехслойный клееный лук и пропал, забыв на стане шапку. Вернулся он через два дня, веселый и насмешливый, плутовато поглядывал на постников и все донимал Угрюма расспросами, отчего тот печален в праздник.

Никакого веселья, как когда-то в большой промысловой ватаге, не было. Михей возводил собачьи глаза то к небу, то к лесу, чмокал истончавшими губами в седой бородачке. Пантелей с Угрюмом выглядели печальными и утомленными. Монахи, со светлыми лицами, сами по себе тихо радовались своему, им понятному, счастью.

Синеуль рассказывал, что видел в лесу. Притом он так приукрашивал богатство тайги, что передовщик стал задумываться, не пора ли готовиться к зиме.

– До истока этот год не дойти! – оглядывал реку. – Глянь-ка сколько воды. Шире Нижней Тунгуски. Еще недели две-три пройдем, а там посмотрим.

– Если хотим соболей добыть – промышлять надо дальше от кочевий! – рассуждал Угрюм. – Монахам это зачем? Они, поди, завоют, в одиночку в зимовье сидючи! – неприязненно кривил губы. – С другой стороны, возле кочевий и мы могли бы сыто перезимовать. Тогда тунгус завоюет. Чудная, однако, ватажка! – вздыхал, бросая на Пантелея быстрые скрытые взгляды.

Он не верил сказкам о русских городах, живущих по старине да по справедливости: знал, всякий город любит богатых. О воле помалкивал, с тоской поглядывая на старого Михея. Тот всю жизнь прогонялся за волей и богатством. Тоска давила молодецкую грудь: «Куда идти? Где поселиться? К какому обществу приписаться?» Хотелось ему бросить связчиков и плыть обратно в Енисейский острог, поверстаться в посад, зажить домом. Но на пути были страшные каменные пороги.

После праздника ватажные с радостью снялись со стана и снова двинулись к верховьям реки. Крутым берегом они подошли к заболоченному устью притока, разлившегося между покрытых лесом холмов. Издали это место казалось сухим, а когда подошли, увидели камыши в рост человека, кочки, болото.

Смеркалось, надо было устраивать ночлег. Река круто повернула на полдень. К доброй погоде высоко в синем небе черными крестиками носились стрижи. В лучах заката пламенела осенняя тайга.

– Здесь надо ночевать! – досадливо огляделся передовщик.

Идти дальше – устраиваться в потемках, вернуться – плохая примета. Путники нашли сухое место среди чахлах больных берез, развели костер. Пантелей беспокойно поглядывал

на небо, предвещавшее хорошую погоду. Через чуткие ноздри всей грудью втягивал воздух. Среди запахов реки, травы и прелого листа его настораживал сырой и свежий дух.

– Не пойму! – ворчал, оглядываясь по сторонам. – Стрижи высоко, отчего дождем пахнет?

Чавкая мокрыми бахилами по болотине, монахи приволокли пару сухостойных лесин. Они отдышались и снова пошли за дровами. Михей раздул костер и повесил котел на огонь. Синеуль с Угрюмом резали сухой камыш на подстилку. Над рекой опускались сумерки, и с ними, казалось, все ниже опускается небо.

После ужина ватажные бросили жребий, и он пал на Угрюма. Чертыхнувшись про себя, молодой промышленный запалил от костра трут, поволок тяжелую пицаль к стругу, привычно подсыпал из рожка порох на запал. Укутавшись одеялом поверх одежды, сел караулить сон товарищей.

Ни звезд не высыпало на небе, ни луна не вышла. Ночь была темна. Слышалось, как глухо и далеко в своих глубинах перекачивает камни река, как шуршит камыш. Треснул сучок, придувленно визгнул зверек. Утробно рыкнул то ли медведь, то ли кабан. Зашумел камыш. Опять все стихло. Угрюм стал подремывать, роняя голову на грудь. Уши ловили шорохи, отсеивали все пустячное, выискивали звук приближающихся людей. Ничто другое караульного не пугало.

В очередной раз открыв глаза, он зябко передернул плечами и почуял запах зимы. Во тьме бесшумно падал снег. Угасая, дотлевал костер. Едко напахивало сырой золой и дымом. Сонному караульному показалось вдруг, что снегопад надежно укрыл его от опасностей. Он с головой укутался в одеяло и блаженно вытянулся на мешках с рожью.

Его разбудил вопль черного дьякона Герасима. На одеяле мягкими путами лежала тяжесть снега. Напрягаясь всем телом, Угрюм сел, сбросил его хрусткие комья к ногам. Было ясное утро. Снегопад кончился так же неожиданно, как и начался. Поздней памятью Угрюм отметил про себя, что крик монаха не был опасливым или испуганным: он был радостным.

В следующий миг караульный испугался, что передовщик знает, как он охранял стан, и может приласкать батогом за крепкий сон. Угрюм опасливо огляделся. Пантелей еще только выбирался из-под одеяла. «И ладно!» – подумал, теперь уже по праву заворачиваясь в теплый мех.

Он хотел доспать с часок, но, проснувшись, почувствовал, что солнце уже высоко. Потрескивал костер, возле него никого не было. Угрюм сел, повертел головой. Снег быстро таял, с шумом слетая с ветвей корявых берез, которые еще не сбросили желтый лист. Цепочки свежих следов уходили в разные стороны: в камыш и к сухостойному лесу.

Угрюм протер лицо, вытащил из-под одеяла теплую пицаль, забросил ее на плечо, пошел по следам в камыши. Ему послышались приглушенные голоса. Вскоре он увидел Синеуля. Тунгус сидел на кочке, жевал траву и плевал на оголенную ногу. Его ступня была в крови. Пантелей с Михеем разделявали дикую свинью.

Синеуль вскинул на товарища узкие насмешливые глаза.

– Крепко спишь! Слышал хоть, как монах орал?

– Как не слышать! – Угрюм присел напротив, разглядывая рану спутника. – Она, что ли? – кивнул на свинью.

Синеуль беззаботно хохотнул и стал обуваться.

– А что Герасим орал? – полюбопытствовал. – Святого какого увидел или медведя?

– Город с башнями и с церквями! – захихикал Синеуль. Глаза его сжались в две щелки, нос утонул между щек. – Нет бы тебе, караульному, свидетельствовать. А ты храпел на весь табор.

Пантелей обернулся через плечо, сердито прошипел:

– Казаки утопили бы такого караульного!

– Да не спал я! – напористо вскрикнул Угрюм.

– Что не посмотрел, куда Герасим указывал?
– Зачем мне? – проворчал, оправдываясь и воротя нос. – Пусть монахи со святыми говорят. Я – грешный!

– Бери стегно, неси к стану!

Угрюм послушно подхватил кабанью ногу с жестким ворсом. Синеуль весело затараторил:

– Герасим видел город, а я – соболя в полторы собаки длиной. След – вот он!

Угрюм оглянулся, куда указывал новокрест. На снегу были отпечатки круглых кошачьих лап, побольше рысых.

– Рысь это! – заспорил было. – Снег раскис. Вот и кажется.

– Нет! – запальчиво вскрикнул Синеуль. – Лапы короткие, тулово длинное и хвост. – Хмуря коротенькие брови, тунгус сдвинул их к переносице, неуверенно раскинул руки во всю ширь. – Нет, не рысь!

Монахи вернулись к стану после полудня, когда мясо было съедено, а кости брошены в камыш. Михей услужливо напек для них рыбы, разлил остатки кваса.

– Ходили далеко! – устало опустил на примятый камыш Ермоген. – Похоже, что здесь, – указал глазами на реку, – лука или большой полуостров. Белки много. Соболя есть.

– Город-то видели? – накинулся на них с расспросами передовщик.

– Не видели! – смущенно признался Герасим. – Привиделся! – Черный дьякон сбросил мокрые бахилы, тряхнул длинными светло-русыми волосами и заговорил веселей. – А вот юрт по другому берегу множество.

– Лазили на сосну, глядели! – пояснил Ермоген. – Там лес редкий, – махнул рукой за реку, – равнина, просторные выпасы. Вдруг здесь тот самый торжок, про который говорили братья в низовьях?

– Можно и сегодня туда переправиться. Только там придется новый стан разбивать среди ночи, – пожал широкими плечами Пантелей, будто в чем оправдывался.

– Я здесь останусь! – вскрикнул Синеуль. – Пока большого соболя не добуду – никуда не пойду!

– Одну ногу свинья чуть не отгрызла – другую кот оторвет! – смешливо пригрозил передовщик. Переправляться через реку к вечеру промышленным не хотелось.

– Ну и ладно! – согласился иеромонах, вытирая пальцы сухими листьями. – Мы переправимся на ветке. Завтра вернемся и расскажем, что видели, что слышали.

Михей, боясь разлада в ватажке, зачмокал стерляжьими губами, виновато поглядывая то на одних, то на других. Потом пролепетал, выискивая поддержки:

– Соболя есть – можно и здесь зимовать!

– Андаги³⁷ – вот какой! – бойко поддержал его Синеуль и развел руки на полный размах. Ни о чем другом как о звере, следы которого видел, он думать не хотел.

Угрюм поскоблил бороду, уставился на передовщика. Пантелей опять пожал плечами.

– Можно, конечно, здешнему князю пообещать десятину, – нахмурился, глядя на огонь. – Жаль, до Ламы³⁸ не дошли! – добавил с грустью.

– На Ламе живут тунгусы чилкагирских родов, – горячо залопотал Синеуль. – Они злые, промышленять не дадут, грабить будут. И по тайге у них настрожены самострелы.

– Можно и зазимовать! – неохотно согласился передовщик. – Добрым ватагам самое время зимовье рубить. Вот батюшки узнают, что к чему, будем думать. А переправляться лучше всем. – Обернувшись к монахам, стал пояснять: – Здесь, на повороте, переплыть реку

³⁷ Андаги – соболя (эвенк.).

³⁸ Лама – эвенкийское название Байкала и всякого моря.

трудно. Течение снесет за мыс, а дальше вынесет на стрежень. Надо завтра подняться версты на полторы, на две. Оттуда река сама прибьет к другому берегу.

К вечеру снег растаял. Ночь была безветренной и звездной. Угрюм быстро и беззаботно уснул. Проснулся он от кряхтения Михея, от хруста хвороста. Открыл глаза. Рассветало. Старый промышленный, прикрывая ладонью бороду, раздувал угли костра. Пантелей спал, с головой укутавшись в одеяло. Ни монахов, ни Синеуля возле костра не было.

Голубело небо, уже розовело на восходе. Угрюм скинул одеяло, потянулся, приветствуя взглядом старого промышленного.

– Место благое! – поучительно просюсюкал тот и зашмыгал красным носом. – Батюшки всю ночь поклоны били, нам, грешным, в науку.

Послышались приглушенные шаги по прихваченной инеем траве. От реки к костру подошли монахи. Умытые, свежие, румяные, с ясными глазами, они выглядели так, будто всю ночь отдыхали на перинах. Их бороды и локоны длинных волос по плечам были мокры.

– Выкупались, что ли? – весело взглянул на них Угрюм.

Михей нравоучительно просипел:

– После Ильина дня, как святой в воду посылит, и до поры, как лед встанет, – купаться ни-ни! Судороги сведут. Дедушка на дно утянет.

Не желая спорить с причудами старых промышленных, чернобровый Ермоген рассмеялся. Ему не хотелось начинать добрый день поучениями.

Угрюм поплескал в лицо студеной, удивительно чистой и прозрачной водой. На душе стало еще радостней. Он толкнул на воду ветку, вытянул из омута плетеную корчажку, вынес ее на сушу, открыл заглушку култука. Серебристая трепещущая струя живой рыбы вывалилась на песок.

Синеуль не появился на стане даже к позднему завтраку из хлеба и печеной рыбы. Пантелей, поглядывая на заросли камыша, велел собираться без него. Путники привычно залили костер, покидали в струг котлы, топоры и одеяла. Помолившись, взяли за бечевы и шесты. Струг снова двинулся против течения реки. За его кормой моталась легкая берестянка без груза.

Ватажные прошли под яром с версту, а то и больше. По пути они заметили на другом берегу скрытое деревьями устье притока или залив. Потянули струг выше, чтобы переплыть реку к тому самому месту. Только после полудня их догнал Синеуль. Он выскочил из леса и съехал вниз по глинистому яру. Пантелей сбил шапку на ухо, выставил ногу, собираясь разразиться бранью.

– Видел! – радостно завопил новокрест. – Кота видел! – раскинул руки на размах. Бросил на землю лук. Повел плоским носом, шевельнул губой с пробившимися черными волосками и преобразился, превращаясь в настороженного зверя, крадущегося к добыче.

Передовщик умилился и строго приказал впрягаться в бечеву. Синеуль послушно схватил постромку, перекинул ее через плечо. Притом не переставал рассказывать о встрече с невиданным зверем. Он захлебывался от восторга, путал тунгусские слова с русскими.

– Сарь, сарь всех соболи. Мата бэюн!³⁹

Промышленные и монахи протянули струг еще с полверсты. Передовщик пронзительно свистнул, махнул рукой, чтобы бурлаки заняли места на веслах. Сам сел на корме, перекрестился и дал знак грести к другому берегу. Тяжелое судно закачалось на речной волне.

Как и предполагали, течение вынесло их к косе, за которой открывалось устье полноводного притока. Берег был низок и топок. С полверсты повыше устья виднелся остров, покрытый лесом. На шестах и веслах ватажные прошли к нему, переправились через протоку и высадились на песчаной косе.

³⁹ Мата бэюн – крупный зверь (эвенк.).

Остров был невелик и сух. По всем приметам, он не заливался весенними паводками. Берега его густо заросли ивняком и кустарником. Пока монахи молились, а Михей раскладывал хлеб, Пантелей с Угрюмом и Синеулом обошли сушу берегом. Остров был необитаем, хотя уже за протоком виднелись следы скота, приходившего на водопой. Оглядываясь по сторонам, передовщик сбил шапку на ухо:

– Здесь можно рубить зимовье без тына. Летом вода задержит врага и подставит под залп, зимой – лед!

– Все враги мерещатся? – съязвил Угрюм. За нынешнее лето он понял, что промышленным со скотоводами можно жить мирно и даже с общей пользой: одним не нужна тайга, другим выпасы. – Поставить бы зимовье на коренном берегу да кузню устроить – стали бы мы самыми уважаемыми людьми по всей реке Мурэн!

Дрогнули под усами губы передовщика.

– Можно и так, если жить ради брюха!

Перекусив хлебом и квасом, монахи засобирались к юртам: поговорить с народом, узнать новости. Синеуль стал просить ветку, чтобы плыть к камышам.

– На кой тебе этот соболю, или кто он? – думая о своем, раздраженно поругивался передовщик. – Меха у зверя еще не вылиняла.

– Надо лес посмотреть! – мялся Синеуль.

– Вольным воля, ходячим путь! – безнадежно отмахнулся от Синеуля Пантелей, вытянулся на желтеющей траве и закинул руки за голову. – Если батюшки опять затеют спор, – скопил глаза на монахов, – два дня простоим. А если задержимся на неделю, здесь придется зимовать.

Синеуль перевез миссионеров через протоку. Вернулся, бросил в лодку лук со стрелами и молча оттолкнулся от берега. Гнуса на острове было мало. Пантелей провалился у костра до самого вечера. Михей поворочался с боку на бок и стал варить остатки свиного мяса. Угрюм пошлялся по острову, высматривая сухостойные лесины, вернулся.

– Баню бы устроить! – почесал кучерявившуюся по щекам бороду.

– Ягоду надо собрать. На Дмитра без винца никак нельзя, – просюсюкал Михей.

Пантелей непонятно чему тихо рассмеялся, потянулся, ответил Угрюму:

– Можно баню устроить, можно балаган срубить. Дел всем хватит.

Монахов к ночи не ждали. На закате накрыли балаган корой и стали готовиться к ночлегу. Но за протокой послышался конский топот. Люди на острове насторожились, хотя к обороне не готовились.

Вскоре на берег шумно выехали всадники в камчатых халатах, остроконечных шапках с косами меж плеч. Лошади закружили возле воды. Молодые мужики соскочили с седел, помогли слезть с коней монахам.

– Пошли, что ли? – кивнул передовщик Угрюму. – Надо попов переправить! – стал усаживаться за весла тяжелого неразгруженного струга.

Быстро темнело. Всадники скрылись из виду, едва судно причалило к острову. Монахи молча подошли к костру, устало опустили на землю.

– А мы уж ждали-ждали! Все глаза проглядели! – засюсюкал Михей, вопрошающе поглядывал на прибывших. Те не спешили заводить разговор, но по их лицам видно было, что они приняли какое-то решение и думали, как объявить его.

– Здесь и есть тот самый торжок, про который говорили братья в низовьях реки! – наконец сказал Ермоген.

Михей, глядевший на него преданно и с умилением, спохватился:

– Может, кваску попьете с дороги?

– Сюда приходят булагатские, эхиритские и другие роды, – не услышав его, продолжал говорить монах, – приходят мунгалы и их торговые люди. – А до Ламы на хорошем коне ходу два дня, – поднял глаза на Пантелея.

– Четыре – пешему! – радостно вскинулся передовщик. – Бечевой – восемь. Пусть десять!

– Пастбищ там нет! – Ермоген печально шевельнул широкими бровями, так что резче обозначились складки на переносице, продолжил, подавив вздох: – Кочуют, говорят, одни тунгусы.

– Про наших-то спрашивали? – нетерпеливо заерзал Пантелей, отмахиваясь от услышанного.

– Спрашивали, да ясного ответа не получили, – с готовностью ответил ему Герасим. – Большими бородами здешних людей не удивишь: должно быть, промышленные и торговые люди ходят тайным тёсом. Приток этот, – кивнул в верховья острова, – зовется Ер-кута. По нему, говорят, можно на Ламу выйти. Браты и мунгалы здесь не зимуют – снега глубоки.

– Ер-кута – по-татарски – буйный мужик! – Пантелей возбужденно заскоблил шрам на скуле. – Ближе уже! Рядом!

Герасим с Ермогеном виновато переглянулись. И черный поп со вздохами объявил:

– Нам отсюда никак нельзя уходить, пока здесь браты. У нас перед Господом свое тягло! А вы уж как знаете. Храни вас Господь на вашем пути!

Угрюм бросал быстрые пытливые взгляды то на смущенных монахов, то на озадаченного передовщика. Михей пучил страдальческие глаза и чмокал тонкими губами. Пантелей, вместо того чтобы вспылить, вздохнул и покладисто согласился:

– Можно и здесь зимовать. До Ламы на лыжах сходим. Ржи до Рождества только хватит. – Его губы в густой бороде язвительно покривились, глаза блеснули: – Ватажной рухляди мало, чтобы у братьев что-нибудь прикупить в зиму. Разве Угрюмка своих соболишек даст?

Угрюм подскочил, будто каленый уголек прожег штаны.

– Клейменных не дам! – вскрикнул заикаясь. – Что добыли, тем и заплатим!

Монахи с Пантелеем тихо и добродушно рассмеялись. Михей уставился на него виноватыми глазами.

– Вот вернется тунгус со своим «сарь-соболь», решим! – потрянул бородой Пантелей.

Ермоген добавил с блуждающей улыбкой на губах:

– Не соболь это – тигр! Братские мужики называют его бабром. Побаиваются и почитают!

Ночевали они впятером в тесном балагане. Осенняя прохлада прибила к ночи оттаявшую после снега мошку. Ночью ярко вызвездило. На рассвете монахи поднялись на молитву. Михей позевал-позевал, тоже поднялся. Раздул погасший костер, принялся готовить завтрак.

Ближе к полудню Ермоген с Герасимом подкрепились печеной рыбой и попросили перевести их через протоку. Вечером на устье Иркуты показался Синеуль в берестянке. Он сидел на пятках и размашисто греб против течения двухлопастным веслом. Ткнувшись в песок, вытянул лодку, молча вышел на берег. При общем молчании бросил возле балагана лук и стрелы. На еду не взглянул. Упал на траву ничком и лежал, не отвечая на вопросы, до самых сумерек, пока не вернулись монахи.

– Мойся давай! Не пуцу в балаган смердящего! – передовщик толкнул его кулаком в бок. – Бесов грязью не зазывай. Без них тошно.

Синеуль неохотно сел, взглянул на Пантелея сквозь вспухшие щелки глаз.

– Умный бэюн! Не подпускает близко. Съел половину поросенка, доедать не вернулся.

– Пусть живет! – чертыхнулся передовщик. – На кой он? Браты батюшкам сказали, не соболь это – бабр!

– Не могу жить, пока не добуду! – слезливо вскрикнул Синеуль. – Соболя промышлять не смогу – этот будет перед глазами! Скажи русскую хитрость, как его поймать? – ударил кулаком в землю.

Пантелей с пониманием огладил пушистую, промытую щелоком бороду, присел рядом с тунгусом:

– Говоришь, на мясо не идет? Пока земля не застыла, можно сделать кружало и посадить на приманку живого поросенка.

– Добуду живого! – уставился на него Синеуль проясняющимися глазами.

Передовщик стал втыкать в землю прутки, объясняя, как делается ловушка. Новокрест водил носом едва ли не по его ладоням, но задавал такие вопросы, что Пантелей терпеливо начинал объяснять заново. Угрюм слушал-слушал и предложил:

– Отпусти с ним, – кивнул на Синеуля. – я за полдня кружало срублю!

– Видать, мне одному только и надо на Ламу! – проворчал передовщик, но согласился отпустить двоих.

Из сырого леса, по-промышленному, избенку срубили за полторы недели. Будто в отместку за то, что никто не рвался к Байкалу, размениваясь на пустячную суету, Пантелей заложил ее всего в полторы квадратные сажени – только чтобы шестерым переночевать в морозы. Задерживаться на острове он не хотел.

Синеуль шлялся по тайге, промышлял мясной припас, высматривал, где какой зверь ходит. Старого Омюля жалели: он только стряпал и ловил рыбу. Бывая на острове, монахи работали не покладая рук, но они то и дело исчезали на день-другой для проповедей. По большей части зимовье строили Угрюм и Пантелей, хотя им-то оно нужно было меньше, чем монахам и старому Омюлю.

Едва накрыли сруб, повалил снег. Дверной проем пришлось завесить шкурами. В стужу месили глину, складывали из речного камня очаг по-черному. Не переставая, снег валил с неделю. Браты угнали скот в верховья Иркута. Монахи вернулись, смущенные тем, что избенка срублена без них.

– Заходите уж! – непочтительно и строго пригласил их передовщик. – Хоть освятите, что ли!

Примечал Угрюм, нехорошо встречает зиму ватага: все врозь и каждый норовит жить по-своему. По его рассуждению, виной всему были монахи, из-за которых стало непонятно, кому за них за всех ответ держать перед Богом. Все они были наслышаны о промысловых ватагах, передравшихся и перерезавшихся из-за распрей по слабости или попустительству передовщика. С тех пор как появились монахи, Пантелей только посмеивался над всеми, вместо того чтобы заставлять заниматься общим делом.

Вернулся Синеуль. Втиснулся за завешанную дверь. Обветренное лицо тунгуса благостно сияло. Он поставил в угол лук с колчаном стрел, присел на корточки у огня.

– Поймал бэюн, – протянул к огню потрескавшиеся ладони.

Угрюм соскользнул с нар, покашливая от дыма, просипел:

– Покажи!

– Не рано ли? – строго спросил передовщик.

Синеуль бросил ему на колени убитую белку. Пантелей подергал шерсть на брюшке зверька, передал Михею. Тот корявыми пальцами стал щипать подпушек, с важностью объявил:

– Невыходная еще!

Синеуль весело зыркал по сторонам сквозь щелки век и загадочно помалкивал о добытом звере.

– Продал или подарил кому? – нетерпеливо переспросил Угрюм.

– Отпустил! – новокрест растянул тонкие губы в блаженной улыбке. – Пришел бэюн на раненого поросенка. Попался в русскую ловушку. Рычит! – восторженно хохотнул. – Глаза желтые, как у волка! – Смешливо взглянул на передовщика: – На тебя похож, когда злой!

– Шкура где? – поторопил Пантелей и укорил: – В новую избу вошел. Хоть лоб перекрести!

– Рычит! – Синеуль покорно и рассеянно махнул рукой ото лба к животу, от плеча к плечу, не глянув в красный угол. – Я ему говорю: «Зачем меня так долго мучил? Кровь моя стала черной, кости мои стали желтыми, пока гонялся за тобой. Сейчас отпущу твою кровь своим ножом. Но сперва вырву клочок шерсти с брюха. Из усов толстую ворсинку выдерну, чтобы навсегда запомнил русскую хитрость и никогда бы не лез во всякие ловушки». А он рычит: «Перехитрил ты меня, Синеуль-мата. Но перехитрил не до конца. Моя шкура еще не вылиняла – за хорошую цену ее никто не купит. И никто не скажет, что ты сонинг⁴⁰. Ты отпустишь мою кровь, когда я привязан. Перережешь мою главную жилу, когда мои зубы и когти не могут тебя достать». Так он мне сказал и засмеялся! – Синеуль обвел взглядом теснившихся у очага людей.

Угрюм презрительно хмыкнул. Монахи озадаченно переглянулись. Михей с пониманием закивал. Передовщик глядел на промышленного пристально и строго.

– Значит, не вылинял еще?

– Нет! – мотнул лохматой головой Синеуль. – Я защебил ему голову палкой, просунул руку и дернул с самого брюха. Много шерсти осталось на пальцах.

– И ты его отпустил! – усмехнулся передовщик.

– Бэюн никому не скажет, что Синеуль – трус! Я повесил на дерево лук и стрелы. Я взял в руку нож. Я открыл русскую ловушку и сказал: «Иди своим путем! А если бросишься на меня, то мы равны: у тебя много острых когтей и зубов, а у меня – нож. Никто не скажет, что я убил тебя бесчестно».

– Понятно! – перебил многословные рассуждения Синеуля Пантелей. – Не бросился?

– Нет!

– А как убежал? Стремглав или опасливо?

Синеуль выскочил из тесной избенки. Скинул с дверного проема полог. Упал на живот. Плавно вытянул на снегу свое гибкое тело, поджал к груди растопыренные пальцы, вытянул шею, стал изгибаться змеей и перебирать руками, показывая, как уходил зверь, опасливо прижимаясь к земле, ожидая удара в спину.

– Утешился, и ладно! – хлопнул ладонью по колену передовщик. – Дверь завесь. Надо лабаз рубить да мясной припас к зиме добыть, – стал распоряжаться как старший в ватаге. – А батюшки, если не хотят всю зиму слезы лить и мерзнуть, пусть сделают дверь и трубу к очагу.

Морозы крепчали. Мех на звере вылинял. Михей Омуть к зиме стал непомерно набожен, в постные дни он голодал или ел с монахами кору, приберегая остатки хлеба. Он оставался в зимовье, а Пантелей, Угрюм и Синеуль стали собираться на промыслы. Так решил передовщик – старик был у него в покруте.

Вечерами ватажные набивались в тесную избенку, если не молились, то разговаривали. Угрюм с удивлением примечал, что Пантелей не спешит уходить в тайгу, но подолгу и с удовольствием спорит с монахами. Молодой промышленный невольно прислушивался к их разговорам. Хотя он знал Закон Божий только понаслышке, «аз да буки – конец науке», но понимал, что передовщик прельщает монахов искать старые русские города. Ергоген шелкал застежками Святых Благовестов и благостно читал. Потом они опять приглушенно говорили между собой, и выход на промыслы откладывался еще на день.

Наконец припас мяса и мороженой рыбы был сделан, нарты и лыжи приготовлены. Монахи благословили промышленных на добрый путь и промыслы, а они загрузили в нарты мешок ржи, одеяла, две ручные пищали. Поскольку ружья в полпуда весом каждое нужны были для защиты от людей, а тунгусы и братья вреда промышленным не чинили, Угрюм предложил передовщику оставить одну пищаль на острове.

⁴⁰ Сонинг – герой (эвенк.).

– Оставь! – согласился тот.

Угрюм унес свою пищаль обратно в зимовье. Все его богатство, пищаль за десять рублей, свинца три гривенницы, порох, мешок с клеймеными соболями, он оставлял под присмотром монахов, думая, что так надежней: проповедников все почитают, на них никто не нападет.

Втроем промышленные сорвали с места полозья нарт, потянули их по льду реки навстречу восходящему солнцу. Ветер дул в спину, все начиналось и складывалось слаженно, крепко, а доброе начало – половина дела. С другой стороны, начиная – о конце помышляй: беспокоило Угрюма, как передовщик собирается делить добычу нынешней зимы? О том и выпытывал он Пантелея на привалах – ведь если по прежнему уговору, то Михей, бездельничая с попами, мог получить полупай.

– По уговору! – посмеивался Пантелей.

– И монахам пай? – чувствуя насмешку, злился Угрюм.

– Десятину! Как не дать? Молятся за нас! – передовщик кривил губы в обмерзшей бороде.

Соболь в здешних местах был выбит и напуган тунгусами, которые добывали его всеми семьями, не так, как на Нижней Тунгуске. Заслышав людей, зверь уходил. На приманку, в клепцы, лез осторожно. На пути к первому стану ватажные вынули из ловушек всего пять замерзших зверьков.

Тайга по берегам Ангары была буреломной, непроходимой для лыж. Синеуль, бегая с луком по собольим следам, ничего не добыл и на стан он вернулся разобиженный на здешнего лешего-тайгуна. Пока Пантелей с Угрюмом шкурили добычу, тунгус отсыпался, а после полудня ушел без лыж в сторону от реки и пропадал четыре дня. Догнал он Пантелея с Угрюмом, когда те строили стан во имя архистратига Михайлы. Похваляясь, высыпал из мешка трех черных соболей, какие в Енисейском остроге отбирались в царскую казну.

Втроем они переждали снегопад. Едва разъяснилось небо, Пантелей отправил Синеуля вверх по реке тропить еще одно днище перехода и высмотреть место под третий стан, во имя Николы Зимнего. На другой день по уговору новокрест не вернулся. Пантелей с Угрюмом наскли клепцов по ухожьям, насторожили их и отправились по его следу.

Сначала в долине застывшей реки они увидели густой туман. Сквозь него, справа и слева по берегам, виднелись крутые скалы, где густо, где редко покрытые лесом. Промышленные осторожно подошли к лежавшему на льду облаку, почуяли запах свежей воды. Вскоре в тумане открылась черная полынья, края которой они не видели. Сотни уток ныряли у кромки льда, не обращая внимания на людей. След Синеуля уходил к берегу.

Промышленные подошли к крутой горе, бросили на льду у береговых камней нарту. С пищалью и луком, при топорах за кушаками стали карабкаться на склон с поникшей желтой травой. Сверху в сумерках короткого зимнего дня открылось им холодное бескрайнее море. Студеная вода волновалась и вскипала пенящимися гребнями. На ней кроваво багровели последние лучи заходящего солнца. Волны с шумом набегали на обледеневшие камни, разбивались о намерзший заберег и отступали, обнажая дно.

– Где теперь искать нашего тунгуса? – просипел в заиндеветую бороду передовщик.

Они все же высмотрели несколько следов возле льда у воды. Промышленные спустились с горы, осторожно пошли на восход. Вскоре им открылась просторная падь с застывшим ручьем. Пахло в лица дымком. Путники невольно прибавили шаг и вскоре увидели два островерхих тунгусских чума, покрытых шкурами.

– Загостился наш толмач! – выругался Пантелей.

Отрывисто, беззлобно тявкнули тунгусские собаки. Передовщик свистнул так пронзительно, что у Угрюма зазвенело в ушах. Шевельнулся полог чума, из-за него показался голый до пояса мужик с короткими для тунгуса волосами, с крестом на животе. Он так и стоял, полуголый на пронизывающем ветру, пока связчики не подошли к самому чуму. Собаки с чувством исполненного долга тут же утихли и улеглись на прежние места в снегу.

– Родню встретил, что ли? – ругнулся передовщик. – Или женишься, а на свадьбу не зовешь?

– Заходи давай! Грейся, – Синеуль поднял полог чума.

Под кровом напротив входа сидел крепкий еще старик с седыми волосками на подборке. Густые с сильной проседью волосы пышно прикрывали его широкие скулы, лежали на обнаженных плечах. Рядом с ним сидела полуобнаженная старуха с перекошенным ртом. Из-за их спин на гостей с любопытством поглядывали две девки.

Передовщик втянул за собой пицаль с заиндевевшим стволом, положил ее на шкуры у входа. Девки весело прыснули, глядя на обмерзшие бороды пришельцев. Пантелей поприветствовал их всех по-тунгусски. Старуха подбросила веток на угли. Последним влез в чум Синеуль и бойко залопотал, рассказывая о своих друзьях. Пантелей прислушивался кговору и время от времени вставлял словцо, показывая, что он не безухий.

Из другого чума пришел мужик – брат князца. Синеуль стал рассказывать по-русски все, что узнал от тунгусов чилкагирского племени. Он не винился за задержку, оправдываясь своими рассказами.

По берегу Ламы и в верховьях Елеунэ, что начинается где-то за горами, и дальше в полночную сторону кочевало и добывало пропитание многочисленное тунгусское племя, которое никому не платило ясак.

– Мата Мажи! – почтительно кивнул на старика Синеуль. Тот поднял голову, с достоинством взглянул на пришельцев. В морщинистых, обветренных глазницах блеснули молодые, зоркие глаза. – Мажи с братом потеряли оленей и стоят здесь, промышляют рухлядь и изюбря, меняют соболей и лис на быков. Безоленные, они вынуждены платить ясак то братьям, то мунгалам.

Поторапливая говорившего, Пантелей стал выспрашивать, как дойти до верховий Елеунэ, есть ли там лучи.

На том разговор был закончен. На другой день Угрюм и Пантелей возвращались на стан вдвоем. Угрюм всю дорогу молчал и думал, как объявить, что он не согласен промышлять даром ни за Михея, ни за монахов. Теперь и Синеуль, не расплатившись за припас, остался у тунгусов холопом-женихом.

Пантелей тоже помалкивал, думая о своем. Только возле стана вспомнил:

– Послезавтра Никола! А мы оскоромились по нужде. С утра моемся, отдыхаем, третий день молимся. После будем думать, как дальше жить.

И только к ночи, когда нагрелся балаган, он вспомнил:

– Михей с Синеулем отошли от нас!

– Ты же их отпустил! – с обидой и укором вскрикнул Угрюм.

– Твой пай будет больше! – усмехнулся Пантелей. – Ты до богатства жаден.

Угрюм обиженно посопел, взглянул на него туманным взором и буркнул:

– Я своеуженник! Никому ничего не должен!

– Вот и получишь половину! – равнодушно сказал Пантелей, не отрывая глаз от плавающих углей. – Вольному воля! Я на Елеунэ уйду. Весной куплю у братьев коня, седло сделаю...

– Браты за седло быка дают, – поддакнул Угрюм. – А тунгусы платят им за быка полтора, а то и два десятка соболей.

Короткий разговор перед Николой наконец-то вносил ясность в промыслы и в дележ добычи.

– Учись! – зевнул передовщик и стал готовиться ко сну.

В зимовье они возвращались только к Рождеству. Полмешка ржи оставили на стане, заморозив в колоде, чтобы зерен не достали ни зверь, ни птица. Шли к празднику, думали, что зимовейщики встретят их блинами. Но когда подошли к острову, увидели на месте избенки черную грудку головешек, присыпанных снегом. От лабаза остались одни обгоревшие столбы.

И показалось Угрюму, будто качнулся под ногами лед застывшей реки, а вся его утроба вывалилась на снег. Он бросил бечеву нарты и закричал раненым зверем. Над балаганом, наспех поставленным в стороне от погорелого жилья, курился дымок. На крик, как глухарь из сугроба, из него выбрался бровастый, лупоглазый, перепачканный сажей Ермоген.

– Наказал Господь! – развел руки. – Сгорела изба!

– А мой мешок с рухлядью? – еще надеясь на чудо, взвыл Угрюм.

– Все сгорело! – ответил монах со слезным умилением, похлопывая себя руками по бокам, как петух крыльями.

Угрюм снова завопил, упал на лед и бился в него лбом, чтобы очнуться от сна. И, жутко смиряясь с бедой, уже причитал: «Пищаль нарочитая – десять рублей по случаю, свинца – гривенницы с три. Соболя, клейменные. Кафтан, сапоги».

Кто-то совал ему в руки обгоревший ствол пищали, железный котел, уверял, что свинец можно найти, если порыться в головешках. А вот мешок с соболями и красная одежда сгорели со всем припасом.

Угрюм пришел в себя только в бане. Она не сгорела потому, что была поставлена далеко от избы. Михей услужливо хлестал его пихтовым веником. Пряный дух июльского леса кружил голову. И тут Угрюм заплакал, а старый промышленный стал шепеляво утешать его:

– Всяко бывает. И сгорит все, и отберут, и пропьешь или проиграешь по бесовскому посулу. Бог не без милости, еще даст.

С Рождества до Крещения русские люди во славу Божью не промышляют, давая зверю и птице отдых. Монахи с веселыми и радостными лицами знай себе намаливались. Михей, вроде причетника, отирался возле них.

– Что сидишь с постной рожей? – корил передовщик. – Пришли Святки – веселись! Не то накличешь беду на всех.

На Святых Младенцев Угрюм поднялся раньше всех и решил уйти на стан. Он раздул очаг в продуваемом балагане, пошел к проруби, чтобы разбить лед и набрать воды в котел. На белых снегах лежала редкая ночная тьма. Еще не убралась луна, и деревья бросали на сугробы длинные тени, сверкал, искрился снег. Видно было далеко.

Угрюм взглянул на нижнюю часть острова. Ему показалось, что там торчит колода, которой не было вечером. Он поставил котел возле застывшей проруби, поскрипывая снегом, пошел вдоль берега. И почудилось ему, что колода шевельнулась.

Промышленный перекрестился, поправил топор за кушаком, стал двигаться тише. В пятнадцати шагах то, что он принял за колоду, явно шевельнулось. На его шаги обернулся черный дьяк Герасим и молча поманил к себе рукой.

Угрюм подошел, удивляясь, что тот сидит среди ночи или в такую рань. Может быть, и спать не ложился. Герасим указал рукой вниз по притоку на чуть видневшийся дальний коренной берег реки.

– Ничего не слышишь? – спросил шепотом.

Угрюм прислушался: ни ветра не было в тихой ночи, ни скрипа деревьев. От стужи потрескивал лед. Он пожал плечами:

– А что?

– Вроде колокола звонят к заутренней, – чуть громче сказал дьяк. – Чудное место. Я его давно приметил. Иногда в тумане или в ночи город там видится с церквями, с башнями.

– Чудится! – со сдавленным смешком прошептал Угрюм.

– Может, и чудится, – неуверенно пробормотал Герасим, снова прислушиваясь. – Может, знак, что городу здесь быть и место надо намаливать, – проговорил в голос. – По разумному рассуждению – место благое: и на Ламу путь, и в Мунгалы, и в братскую степь – все отсюда!

– Михей говорит, будто енисейский старец Тимофей двадцать пять лет намаливал и про- рочил город по государеву указу, – прислушиваясь к ясной ночи, прошептал Угрюм. – Пусть не город – только острог поставили. Все равно сбылось!

– Он нас благословил идти за Енисей! – вздохнул Герасим и размашисто перекрестился.

В тот же день, вскоре после полудня, Угрюм дошел до первого стана. По пути он набил тетеревов из лука, вывалил их из мешка у входа, развел огонь в выстывшем очаге. К ночи прогрел балаган, закидал его снегом с трех сторон, стал печь птицу и наконец-то восчувствовал праздник.

За две недели до Евдокии-свистуны передовщик приметил у соболя первые признаки линьки и велел забить, раскидать все настороженные клепцы. Добычу зимы промышленные делили на двоих. Пантелей разложил на две кучи всех соболей, белок и лис, предложил Угрюму взять любую. Тот метнул на передовщика плутоватый взгляд и выбрал ту, что показалась ему ценней.

Погорельцы на острове тоже не теряли время даром. Когда двое промышленных верну- лись к ним, возле балагана лежали грудой тесаные бревна на новую избу. Зимовейщики с радо- стью встретили Угрюма и Пантелея, угостили их печеной рыбой, отваром брусничного листа. Больше ничего не было.

В пять топоров за неделю, без спешки, на острове была срублена новая добротная изба. Покрыли ее драньем из лиственницы, сложили очаг. Монахи хорошо протопили жилье, чтобы не пахло сыростью, и освятили его. Пантелей принялся мастерить седло, Угрюм, кое-чему уже научившись, делал другое, на продажу.

И вот под полуденным солнцем по льду притока потекли ручьи. Возле берегов появились пропарины, в которых так тесно толкалась рыба, что ее можно было черпать ведром. Оттаяли, зажелтели прошлогодней травой берега, сладко запахло березовым соком.

К лету каждый житель зимовья готовился по-своему. Угрюм за протокой, напротив ост- рова, поставил балаган, рядом с ним сделал навес из бересты, очистил крепкий камень вме- сто наковальни, загодя жег древесный уголь, шил мехи для кузни. Работы было много. Время поторапливало. Каждый день он с волнением посматривал на восход, в сторону далеких хол- мов, не покажутся ли там стада братского скота. Как-то в полдень заметил трех всадников с длинными мунгальскими пиками. На низкорослых резвых лошадках они переправились через реку по сырому, рыхлому льду. За каждым всадником в поводу шли по две лошади. На одной из них Угрюм разглядел переброшенное поперек хребта тело человека. Руки и ноги его были связаны.

Одеты были всадники по-братски, в халаты. Правили они своих коней к острову, на курившийся дымок. Зазывая их к себе, Угрюм стал стучать обушком топора по нако- вальне-камню. Мунгалы заметили его и повернули к нему. Угрюм уже начал раздувать горн, сложенный из камня, но всадники, подъехав к его балагану, не подумали спешиться. С беспри- страстными лицами они сбросили на землю связанного мужика и зарысили в сторону холмов.

Слегка удивленный, Угрюм подошел к телу без признаков жизни, перевернул его на спину и едва узнал Синеуля. Лицо новокреста было синим, в черных, кровавых коростах. В заплывших щелках глазниц блеснули живые зрачки. Синеуль тихо простонал.

Угрюм закричал на остров, вызывая зимовейщиков. На берег протоки вышел старый Михей. Затем по шаткому, ненадежному льду переправились монахи. Они осмотрели Синеуля, положили его на нарты и отвезли на остров. К вечеру новокреста привели в чувство. Другим утром он уже говорил, сдержанно ворочая языком и боясь разбередить разбитые губы.

Монахи стали выспрашивать, кто бил и за что. Тунгус болезненно вздыхал, водил по сторонам черными зрачками в набухших синих веках.

– Проповедовал Слово Божье! За то и бит!

Из расспросов выходило, что побили его не мунгалы, а чилкагирцы. Мунгалы, приезжавшие к ним за соболями, только привезли новокреста к острову.

– Видать, мучил свояков проповедями? – похохатывал Пантелей.

– Дикие они! – шипел Синеуль и бросал на передовщика обидчивые взгляды. – Ничего не понимают.

На Зосиму и Савватия пчельников, в середине апреля, в долине Иркута показался братский скот. Пантелей вместе с монахами переправился на берег и ушел к кочевникам. К вечеру он подъехал к кузнице на коне, а в поводу привел за собой еще две старые и смиренные лошади.

Угрюм знал, что весной скотину дешево не продают. Расспрашивать про торг он не стал. Понимал, что из добытого зимой у Пантелея осталось не больше десятка хвостов. Жизнь так и не научила стареющего казака житейской бережливости, а Синеуль опять прилаживался к нему в захребетники.

Проживая особняком в балагане, Угрюм закончил делать седло. Он был доволен своей работой и выставил его на виду, под навесом. Наконец-то к нему потянулись кочевники со всякими просьбами, повезли молоко, творог, масло и все поглядывали на выставленное седло, приценивались.

Угрюм азартно ковал, чинил седла и посуду, затылком чувствовал, что и на острове жизнь кипит. Но сходить к зимовейщикам ему было некогда. «Весну пролежишь – зимой с сумой побежишь!» – приговаривал себе под нос, работая с утра до вечера.

Купленные Пантелеем кони три дня пропаслись спутанными возле кузницы. На четвертый ранним утром при синем небе и розовеющем востоке на берег переправились все островитяне. Угрюм услышал шум их голосов, выглянул из балагана с одеялом на плечах. Его бывшие связчики седлали и грузили коней, прощались и кланялись друг другу.

К немалому удивлению Угрюма, одного из коней взял под уздцы Ермоген, двух других Пантелей с Синеулем. Они подвели их к Ангаре, еще покрытой черным ноздреватым льдом. Ощупав его лыпой, Пантелей осторожно потянул коня к другому берегу. Лошадка, скользя копытами, опасливо пошла за ним.

Трое стали переправляться, что было небезопасно: со дня на день, с часу на час лед мог сдвинуться. Герасим с Михеем стояли на берегу и рьяно молились, касаясь пальцами земли в поясных поклонах. Глядя на них, Угрюм обидчиво шмыгнул носом: люди, с которыми промышлял и жил, ушли не прощаясь, правда, и он не вышел к ним из балагана, боялся, что попросят седло для третьей лошадки. Не попросили. Синеуль увел неоседланного коня.

Всадники благополучно переправились. Только возле яра, у самого берега, где течение подмыло лед, конь Пантелея провалился по брюхо. Но он вскинул голову, легко выбрался на сушу и так затряс кожей, что на хребте ходуном заходило седло вместе с притороченными к нему пищалью, саблей, шубным кафтаном и одеялом.

Монах и тунгус обошли промоину стороной, вывели лошадей на яр. Обернувшись, замалили руками Герасиму с Михеем.

– В добрый путь! – махнул им и Угрюм. Сбросил с плеч одеяло, вылез из балагана, стал раздувать горн.

К полудню к его стану подъехал братский пастух с черным лоснящимся лицом. Покачивая головой и горестно пыхтя, показал стершиеся удила. Через слово на третье Угрюм договорился с ним и потребовал за работу масла.

Прошла неделя. На остров он не переправлялся, рыбу на еду не ловил, на берег выходил, только чтобы зачерпнуть воды. Мясо в его балагане не выводилось, он заработал с полпуда проса и варил кашу, густо заправляя ее коровьим маслом. Вскрылась Ангара. Иркут давно очистился ото льда. Герасим время от времени переправлялся через протоку на берестянке, ходил к братьям в юрты, заходил и к Угрюму, сидел возле его огонька. Душевного разговора между ними не получалось. Промышленному все казалось, что черный дьякон поглядывает

на него с укором и ждет покаяния после того, как спалили его добро, нажитое годами тяжелых трудов.

Вечером, глядя в высокое небо, Угрюм вспоминал о своей прежней жизни. Другая зима его не пугала: на прежних станах и уюжях, если их не пожгут, не порубят тунгусы, на всем готовом он мог промышлять соболя в одиночку, мог сделать легкую лодку и уплыть по течению к Енисейскому острогу. Это была воля! Не та, о которой лопочут чуть живые от изнурения или пьяные промышленные, а настоящая, как он ее понимал.

В очередной раз возвращаясь на остров, дьякон обошел его стан стороной. В это время Угрюм варил жирную баранину. Он усмехнулся вслед монаху, подумав, что того смутил дух свежего мяса.

Прошла еще неделя, затем другая. У озер показались воинские люди. Четверо из них направили своих коней к его кузне. Один был в остроконечном блестящем шишаке, его дорогой камчатый халат перепоясывал серебряный пояс, серебряная пластина висела на груди. Баатар ехал впереди на горячем жеребце. Три вооруженных братских мужика рысили следом.

Когда они остановились возле кузницы, Угрюм узнал в богатом всаднике брата князца, с которым встречался на Елеунэ. В тот год с большой ватагой под началом Пантелея Пенды он возвращался с Нижней Тунгуски.

Баатар был сухощав, лицо у него было продолговатым, а не круглым, как обычно у братьев, нос острый, похожий на клюв хищной птицы, глаза большие, черные, с пристальным, немигающим взглядом.

Угрюм безбоязненно вышел из балагана и поклонился прибывшим. Те с любопытством уставились на него. Заносчивый боевой холоп бросил на землю полоску железа. Князец ловко захлестнул плетью заднее копыто своего жеребца, задрал его, показывая, что конь потерял подкову. Затем указал на двух лошадок в поводу.

Всадники спешили, сели на траву. Кони опустили косматые шеи, стали с хрустом щипать весеннюю зелень. Угрюм со знанием дела раздул горн, стал калить железо. Он поглядывал на баатара и все не мог вспомнить, как сказать по-братски «брат». Зато вспомнил имена братьев.

– Куржум-баатар! Бояркан-хубун!⁴¹ – и угодливо улыбнулся.

Князец с любопытством окинул кузнеца пристальным, немигающим взглядом. Его молодцы приглушенно загыркали, кивая на Угрюма.

– Пянда! – пролопотал один и провел ладонью по своей дородной груди, будто оглаживал бороду.

Угрюмка радостно закивал. «Был гостем на Зулхэ!» – нескладно сказал по-братски. Как назваться гостем – не знал, назвал, как запомнилось, мангадхаем⁴². Балагатские молодцы захохотали. Куржум улыбнулся, вспомнив встречу с промышленными.

Угрюм указал, чтобы резвого жеребца ввели между вкопанных им в землю четырех столбов и привязали. Работал он на совесть, то и дело смахивая рукавом пот со лба. Срезал наросты с копыт, очистил их, подогнал подковы, надежно расклепал гвозди. Сам остался доволен своей работой и по лицам всадников понял, что угодил им. Остатки железа они не забрали. Вдобавок к нему Куржум бросил на землю серебряную подвеску.

Угрюм взглянул на нее, метнулся в свой балаган, выскочил оттуда с двумя соболями и подарил их Куржуму. Молодцы одобрительно загудели. Баатар принял подарок, потряс мех и спрятал в седельную суму. Угрюм поднял подвеску, подбросил на руке. На ней был выбит простенький узор. Он мог украсить этим серебром седло или уздечку и продать их дорого.

⁴¹ Хубун – титул главы родоплеменного объединения у бурят в XVII веке.

⁴² Мангадхай – антропоморфное чудовище, олицетворение несчастий (*бур.*).

Какие дела привели балаганцев на Иркут, часто ли они бывают здесь, он не знал, но остался доволен встречей и все ждал от нее каких-то перемен. Предчувствие его не обмануло. На другой день к балагану подъехали двое: один из вчерашних косатых боевых холопов князца, другой был незнаком Угрюму. Он приветливо закивал всадникам. Незнакомец сказал по-тунгусски, что у булагат нет своего дархана⁴³. Куржум зовет к себе на службу. Пока Угрюм думал и переспрашивал, косатый молодец отвязал от седла и бросил на землю мешок.

Угрюм вытряхнул из него все добро и ахнул. Там был камчатый халат и красные сапоги. Братские мужики захохотали, поворачивая коней, а он сбросил с себя кожаную рубаху, чирки, стал примерять халат и сапоги. Кроме них в мешке была шелковая рубаха. Угрюм сбегал к воде, ополоснулся в студеной протоке, надел новую рубаху и зажмурился от удовольствия, впервые всем телом ощутив легкость и ласковое касание шелка.

На другой день, когда вдаль показался знакомый всадник с лошадей в поводу, он был уже собран в путь. Котел, топор, молоток, железо и остатки еды вошли в один мешок. Одеяло, шубный кафтан, крепкие еще бахилы, ичиги – в другой. Шапка была у него суконная, обшитая соболями. Поверх всего набитого в мешки добра батожком торчал обгоревший ствол пищали.

Как-то неловко было уезжать, не попрощавшись с Герасимом и Михеем. И отчего-то стыдно было встречаться с ними, говорить, куда едет. Угрюм решительно тряхнул головой, оседлал коня своим седлом и сел в него. Оглянувшись на дымок, поднимавшийся над островом, вздохнул и подумал: «Все равно узнают от братьев, с кем и куда уехал». Клацая железом в мешке, лошадь двинулась в ту сторону, откуда в прошлом году он пришел со стругом и со стертymi в кровь плечами.

⁴³ Дархан – кузнец (*бур.*).

Глава 3

– Болота бескрайние, грязи непролазные! – бормотал приказный Маковского острога, с тоской оглядывая окрестности. – Видать, отсюда и приберет Господь за грехи наши!

– А ты откуда хотел? С Тобольского города? – сердито выцарапывая из бороды запутавшуюся щепу, съязвил Иван Похабов. – Или из царского кремля?

Дед Матвейка, не глядя на него, тяжело вздохнул, повел хмельными, выцветшими глазами, невольно выдавая тайные стариковские помыслы, что ему, тобольскому сыну боярскому, прослужившему на Енисее лучшие годы, можно бы предать душу в руки Божьи поближе к столице Сибири.

Сколько помнил Иван Матвейку, тот всегда казался ему старым, но обветшал едва ли не за последний год. У крепкого седобородого служилого вдруг опустились плечи, потускнели глаза, он стал приволакивать ноги, жаловаться на хвори и отлынивать от работ. На этот раз казаки со стрельцами весь день махали топорами, к вечеру от усталости руки висели плетьюми, а он, просидев возле печки и тайком попивая винцо, жаловался на кручинную тоску-печаль, грозился помереть.

С тех пор как Иван Похабов и Василий Колесников были присланы на службы в Маковский острог, дед Матвейка бездельничал на своем окладе. Отписки – и те сочинял за него Василий, а писал Иван. Он с Колесниковым держал приказ по острогу, Матвейка же был при них вроде разрядной печати. Отдыхал сын боярский на старости лет: думал о прожитом, собирал ягоду, курил вино, попивал греховно, в одиночку.

– Хоть бы в Енисейском! – продолжал лепетать заплетавшимся языком. – Все над рекой, на самом краю Сибирской Руси. Не среди здешних грязей!.. – Приказный вдруг встрепенулся, почувствовав молчаливое недовольство служилых, заискивающе польстил: – А вы хорошо поработали.

Ко всему старческому занудству он стал скуп. Неохотно, со многими вздохами, достал из-за печки наполовину опорожненный кувшин, налил по чарке Похабову, братьям Сорокиным и стрельцу Колесникову.

– Благодарим за угощение! – повеселев, перекрестились служилые. Степенно выпили, обсосали усы, дожидаясь второй чарки. Не налил, хрен старый. Иван поднялся, подпирая шапкой низкий потолок.

– Приглядывайте тут! – буркнул Сорокиным, которые оставались на ночлег в гостинном дворе. – Нас с Васькой жены ждут!

– Раз ждут – надо идти! – плутовато закивал Якунька Сорокин. – Мы покараулим! – бросил томный взгляд на кувшин. Кабанным пятакон шевелились в его бороде чуткие выдранные палачом ноздри.

Стрелец и казак вышли из избы гостинного двора. Иван оглянулся на казенный амбар, накрытый драньем, на баньку у ручья. В оконце избы засветилась зажженная лучина. Быстро темнело. До острожка, в котором заперлись бабы с детишками, было с полверсты.

– Успели к дождям накрыть амбар, – похвалился Колесников, по-куньи зыря по сторонам острыми глазами. – Остальное доделаем зимой.

По прибытии на здешние службы им, четверым с братьями Сорокиными, наказали принимать в государев амбар рожь, хранить ее и возить через волок из Маковского в Енисейский острог. Третий год сряду они этим и занимались, да брали десятину с воровских промышленных ватаг, пытавшихся обойти стороной Енисейский острог, да собирали ясак с ближайших кетских родов. Каждый год им присылали в помощь стрельцов или казаков, но те подолгу не держались. А эти притерпелись и будто приросли к здешним болотам.

Волок из верховий Кети в Кемь с каждым годом становился все оживленней. Кроме казенных товаров и служилых через него шли торговые и промышленные люди, шли гулящие в поисках заработков и лучшей доли. Из болот между Обью и Енисеем выползали промышленные ватажки. Летом народу собиралось множество. В остроге становилось тесно, начинались шум, скандалы, драки. Не без умысла здешние служилые выбрали место для гостиного двора подальше от острожка.

– Разбирает старого! – обидчиво шмыгнул носом Василий Колесников, раззадоренный чаркой слабенького ягодного вина. – В печали! – передразнил приказного, подражая его голосу: – Не поставили енисейским воеводой! А нам теперь задарма его оклад служить, пока Бог не приберет? Буду в Енисейском, доложу воеводе, что бездельничает. Был бы грамотный, как ты, написал бы царю: пусть снимет с приказа и тебя в его оклад поставит.

Правильно говорил стрелец. Но Иван жалел старика, с которым не раз служил давешние годовалые службы.

Калитка в остроге была подперта изнутри жердью, к ней была привязана тайная бечева, спрятанная между бревен. Иван впотьмах нашарил ее конец, потянул. Приподнялась жердина. Он толкнул калитку плечом.

Острожек был без башен, в три избы, амбар да баня. Между стен поставлен стоячий тын. Привычная теснота. Семейному казаку или стрельцу давали жилья по указу в две с половиной сажени квадратных, сыну боярскому – на сажень больше.

Иванова изба была угловой. Печь занимала половину жилья. В стенах заткнутые мхом бойницы. И жил он в этой тесноте без порядка. Черный от сажи котел с выстывшей кашей стоял на полу. Рядом с ним валялся шубный кафтан. Немытые после еды ложки были разбросаны по лавкам и на полу.

Возле печи над ушатом с водой горела смолистая лучина, освещающая неприбранное жильё. Иван устало опустился на лавку, стал развязывать скользкую бечеву на промокших бахилах.

Едва хлопнула дверь, из-за печки выскочила жена. Нос ее был испачкан сажей, подол мукой. «Пелашка – рвана рубашка». Который год был женат Иван, а все никак не мог привыкнуть к обыденной для жены грязи и к беспорядку. Кори не кори, бей не бей – чище и опрятней Меченка не становилась. Прежде он и знать не знал, думать не думал, что на Руси водятся такие, как она, замарашки.

Огляделся брезгливо.

– Хоть бы убрала! – кивнул на котел.

– Рожь молола! – слезно вскрикнула жена и обиженно поджала губы. – Якунька с рук не слазит. Весь день в хлопотах.

Она знала, что муж не любит беспорядка, иногда старалась все расставить по местам. Но у нее тут же появлялась нужда что-нибудь искать, и снова все горшки и плошки оказывались на полу.

– Колесничиха тоже в хлопотах! – безнадежно проворчал Иван. – Корми давай! Да вытри свой длинный нос.

Перебирая по лавке ручонками, к отцу двинулся малолетний сын. Сделал шаг, другой, пугливо замер. Иван никогда не повышал на него голоса, но доверия и ласки между ними не было. Он все приглядывался к Богдану⁴⁴, пытаясь высмотреть кровь Максимки Перфильева, но узнавал в нем брата Угрюмку.

Жену за девичий грех Похабов никогда не корил: знал кого брал. Но молчание и равнодушие мужа к сыну обижало ее больше укоров. Иной раз она рыдала, слезно доказывая, что это его родной сын, а сама досталась мужу честной и невинной. Иван молча выслушивал ее

⁴⁴ Богдан – богоданный сын – сын жены, не родной отцу.

вопли и стенания, не спорил, только кривил губы в усмешке, слышал от людей: девка на Дмитра хитра – черта обманет.

Вот и теперь, вместо того чтобы кормить мужа, носилась по избе, терла нос подолом, крутилась без всякой надобности. А котел с кашей как стоял на полу, так и стоит. Иван поднял свою ложку. Ополоснул в ушате под лучиной. Поставил на стол холодный котел, перекрестился и стал есть.

Тесто у Меченки подошло к ночи, а печь выстыла. Она побежала из избы за дровами, возвращаясь, запнулась о порог. Ко всему прежнему беспорядку по тесной казачьей избенке разлетелись поленья. Иван облизал ложку, ткнул ее в мох под потолок, где жене не достать. Терпеливо положил три поклона на темнеющий образок и полез на полати. Жена недолго шебаршила у печи. Хлеб она так и не поставила. Едва укачала сына, мышью вскарабкалась к мужу, знала: ночь простит и помирят. Хоть в этом уродилась женой. Васька жаловался, что пока не принудит свою, Капа так и не вспомнит про супружеский долг.

Утром нетерпеливо, по-свойски, кто-то застучал в ворота острожка.

– Спите, нехристи, в праздник? – гнусаво завопил за тыном Якунька Сорокин.

Иван высунул голову из оконца. Бусило⁴⁵ низкое небо. Рассветало. Васька Колесников прошлепал босыми ногами по плахам двора.

– Что надо? – окликнул казака, снимая закладной брус.

– А то! – как распаленный петух, ворвался Якунька и хищно повел по сторонам драным носом. – Стрельцы с Оби в Енисейский возвращались и заплутали в протоках. Среди ночи Михейка Стадухин приполз к нам на карачках. Говорит, дым учуял. Служилые с бабами и с детьми пропали. Искать их надо!

– Своих-то на кого бросим? – растерянно взглянул на Ивана Василий.

– Твоя кобыла ухватом от тунгусов отобьется! – хохотнул Якунька. После того как Колесников отбил невесту у его брата, он не упускал случая посмеяться над Капой и припомнить стрельцу его грех.

– Останься! – приказал Иван и стал собираться.

К утру тесто в квашне опало и кисло, приторно засмердило. Кроме засохших в котле остатков каши, подкрепиться было нечем. Василий мигом оценил услугу Ивана. Не успел тот промазать дегтем просохшие бахилы, в его избу, стигаясь в низкой двери, вошла Капа и трубно проголосила, глядя на Ивана большими детскими глазами:

– Васька велел тебя накормить! – Охнула и хлопнула по бокам длинными руками, увидев опавшее тесто, испуганно взревела и взглянула на высунувшуюся с полатей заспанную подругу: – Я Ваньку-то у себя накормлю! А после хлеб испеку на всех! Пропадет ведь тесто. Грех.

Пелашка заметалась по избе, подбирая с полу разбросанные поленья. Капа поманила Ивана в свою опрятную избенку. «Что с того, что глупа? – думал, надевая кафтан. – На кой он, бабе, большой ум?»

Не глядя на жену, он обмотался кушаком, повесил на бок тесак, сунул за кушак топор, перекинул через плечо лямку патронной сумки, привычно шелкнул пряжкой шебалташа, стянув ремни на бедрах, чтобы не болтались ни сумка, ни тесак. Подхватил ручную пицаль и хлопнул дверью. Подкрепившись у Колесникова, он быстро зашагал к недостроенному гостинному двору.

Когда Иван вошел в гостевую избу, Михейка Стадухин, обессиленный и голый, спал на лавке возле печи. Его лицо кривилось от претерпеваемой боли. У ног грудой валялась грязная одежда, в которой он приполз. Пицаль и сабля, протертые ветошью, стояли в головах, под рукой.

⁴⁵ Бусило – моросило (сиб., устар.).

Дед Матвейка подбрасывал в печь щепу, тихо охал и жалел пропавших стрельцов. В избе было жарко. Едва вошли Иван с Якунькой, лицо Михейки Стадухина напряглось, стало строгим, он открыл глаза и сел, свесив с лавки голые ноги. Вид стрельца был вполне отдохнувшим. Невысокий, недородный, будто скрученный из жил, он с удалью тряхнул головой, мысленно отгоняя от себя все пережитое.

– Дай сухую одежду! – приказал, начальственно глядя на Ивана. – Без меня вам никого не найти.

– Дай что-нибудь из своего припаса! – обернулся Иван к приказному.

– Что дать-то? – сварливо заохал старик. – С себя только снять?

– С себяними! – приказал Иван, начиная злиться. – В избе можно и голым посидеть. – Стрельца же строго спросил: – Что в болото полезли?

– А заплутали! – передернул тот жилистыми плечами. Потупился, скрипнул зубами. – Не тем притоком ушли к полночи. – Резво вскочил на ноги. На миг болезненно покривилось его лицо и тут же оправилось. Он опять взглянул на Ивана с вызовом: – Я сотнику столько раз говорил – не туда идем, что грозил мне заткнуть глотку старым ичигом. Дозатыкался! Утоп в трясине! Прости, Господи! – размахисто перекрестился Михейка с яростным лицом. – Хорошо еще, баб и детей оставили на острове у остяцкого шамана. Не то уморили бы всех до смерти.

– Отчего разбрелись-то? – мягче стал допытываться Иван. – Струги где?

– Бросили! – неохотно признался стрелец. – Река кончилась. Пошли напрямик, увязли! – вяло махнул рукой, исподлобья метнул быстрый взгляд в красный угол.

Якунька Сорокин, молча слушавший стрельца, скривил губы, гнусаво проворчал:

– Видали таких удальцов! Спаси бог связаться.

Уловив в его словах и голосе какой-то подлый намек, полуголый стрелец с яростным лицом двинулся на казака. Иван удержал его и толкнул на лавку. Якунька боязливо выскочил из избы. Старый приказный с жалобами и ворчаньем достал из сундука кожаные штаны, такую же рубаху, снял с себя стоптанные ичиги. Михейку приодели. Он нацепил саблю, вытащил из мокрых, раскисших бахил засапожный нож.

Братья Сорокины и Похабов двинулись по болоту следом за ним. Под ногами хрустели заледеневшая к утру трава, покрывшиеся льдом лужи. Местами видны были застывшие следы Михейки, где он полз и лежал. Шагая за ним, Иван видел, что каждое движение дается стрельцу с усилием. Но он шел в промокших ичигах. Еще и поторапливал Сорокиных, указывая на чахлые колки больного, низкорослого березняка, которые надо было осмотреть.

Первым нашли Дунайку Васильева. Молодой стрелец, облепленный тиной и грязью, сидел на кочке и спал, уронив голову на грудь. Между его ног была зажата тяжелая крепостная пищаль. Васька Черемнинов в полуверсте жег костерок на сухом островке и сушился. Завидев Михейку Стадухина, он стал матерно ругать его. И быть бы драке между чуть живыми от усталости людьми, если бы Иван не растащил их.

Еще двоих нашли живыми по пояс в трясине, в обледеневшей одежде.

– Кому силы девать некуда, тащи товарища! – приказал Иван.

Дунайка с несчастным, разобиженным на весь свет лицом, мотаясь как пьяный и заплетаясь, потащился по свежему следу. Как дубину, он волок за собой по грязям пищаль. Двоих, обессилевших, чуть не околевших в трясине, повели под руки Черемнинов и Сорокины.

К полудню Похабов со Стадухиным нашли еще двух стрельцов. Стали возвращаться вчетвером. Возле избы Михейка закачался, стал часто запинаться и падать. Потом подполз к стене, сел, навалившись на нее спиной, и уснул. Без чувств его затащили в избу братья Сорокины.

По их следам к вечеру вышли из болот стрельцы Терентий Савин с Дружинкой Андреевым. Для них, последних из блуждавших, возле гостевой избы стреляли холостыми зарядами. Якунька Сорокин, не в силах сдерживать злой язык, подначивал, что блуждали они в местах, которые проходили не раз и не два.

– Тайгун осерчает – меж трех сосен обведет и закружит! – обидчиво оправдывались измученные люди.

Те, что успели прийти в себя, парились в бане и рассказывали про остров, где оставили жен с детьми и двух служилых. Сотник Поздей Фирсов по пути делал затеси. Когда он утонул, стало не до них: выходили кто как мог.

У большинства стрельцов, выбравшихся из болот, распухли ноги. Идти на поиски оставленных ими на острове могли только двое: отдохнувший Михейка Стадухин и Дружинка, который говорил, что помнит путь. Он считался умным и осторожным стрельцом. Ему верили. Искать затеси сотника все сочли безумием. Утром казаки Михейка Сорокин с Иваном Похобовым и два стрельца отправились в путь на легких берестянках.

Разбивая лед веслами, они весь день блуждали среди протоков. Дружинка вскоре признался, что заплутал и не знает, где остров. Опять стреляли холостыми зарядами, прислушивались. Ночевали у костра. На другой день нашли брошенный струг. Вскоре услышали ответные выстрелы.

Стрельцы и женщины с детьми были живы. Они не голодали, так как сотник оставил им весь припас. Бабы стадом толклись на топком берегу и ревели как коровы. Молчала одна сотничиха с бледным лицом. Она была брюхата, прижимала к груди двух притихших сыновей, глядела на стрельцов страшными, вопрошающими глазами.

– Взял дедушка! – смущенно оправдывался перед ней Стадухин. – Сами едва не потопли, а вытянуть его из трясины не смогли. А ты не пропадешь! Найдем тебе другого мужа на хорошем окладе.

В стороне возле небольшого дымного костерка сидел на корточках старый кетский шаман. Лицо его было сморщенным, как засохший гриб, к тому же черным и бугристым, как березовый нарост чаги. Седые длинные волосы свалывшимися прядями свисали на грудь и спину. На плечи его была накинута парка, шитая из разных шкур, со множеством побрякушек и звериных хвостов.

Иван перекрестился от осквернения и подошел к огоньку.

– Правду он сказал? Правду? – с воплями кинулась к шаману сотничиха. Иван невольно перехватил ее руки. – Колдун проклятый! – верещала вдова и обливалась слезами, обвисая на казаке. Женщины подхватили ее под руки, увели к стругу.

Старый шаман даже глаз не поднял на кричавшую сотничиху. За его спиной был ветхий балаган. На пнях вырублены личины. Медвежья шкура с длинными когтями висела на жерди.

Женщин и детей стрельцы усадили в струг. Шаман равнодушно принял связку набитых в пути гусей, с безразличным лицом ощупал подаренное ему в почесть и благодарность одеяло. Нельзя было ссориться с верными ясачниками Маковского острога. Чем он обидел сотничиху, Иван спрашивать не стал.

Вдруг глаза шамана, глубоко запавшие в морщины, остановились на золотой пряжке шебалташа. Лицо старика оживилось. Он с любопытством взглянул на Ивана, потянулся к ней желтыми скрюченными пальцами.

– Дарю в почесть! – Иван охотно скинул с себя опояску и кинул ему на колени.

Шаман судорожно и брезгливо, как змею, сбросил шебалташ на землю. Потом опасливо ощупал бляхи. С непроницаемым лицом долго разглядывал их. Соединил и разъединил. Затем заложил пряжку между ладоней, смежил морщинистые веки и тихонько запел, покачиваясь на корточках. Ивану показалось, что старик на свой лад радуется подарку.

Он еще раз поблагодарил его по-остяцки и махнул рукой. Дружинка на корме струга уже отталкивался шестом от берега. Грузное судно не двигалось с места. Стадухин с носа окликнул Ивана, чтобы помог толкнуть струг на воду, и тот уже обернулся к товарищам, беспечно расставаясь с бляхами, доставшимися ему под Тобольском чудно и даром. Но шаман вдруг открыл глаза, поднялся, что-то забормотал и втиснул шебалташ казаку за кушак.

– Говорит, нельзя дарить! – громко перевел его слова Михейка Стадухин, не раз ходивший к кетам за ясаком. – Говорит, голова твоего брата живая, скоро ты с ним встретишься! – Стрелец зло хохотнул и сплюнул в протоку. – Дикие, что с них взять?

Иван неохотно забрал шебалташ, помог столкнуть на воду струг. Сам сел в берестянку. Скрежеща веслами и шестами, суда стали продвигаться среди травы и тины. Милостью Божьей они вышли к Маковскому острожку все живы.

На другой день стрельцы и женщины с детьми отдыхали. Потом стали собираться в Енисейский острог. Приказный дал им двух казенных коней с волокушами. Из своих осторожных служилых с отпиской для воеводы отправил на Енисей Ивана Похабова. И все подначивал, смеясь, дескать, вожем дает стрельцам казака, чтобы те снова не заплутали на волоке, а сотничиху звал за себя в жены.

– Хитер! Меня при себе держит! – со злым лицом крутился возле Похабова Василий Колесников. – Себя, поди, в отписке нахваливает. Ты там скажи воеводе, нет от него никакой пользы, только оклад проедает да вино тайком курит.

Под глазом у Колесникова уже синело: как ни сторонился Стадухина – свела судьба, Васька не удержался – съязвил, Михейка тоже не сдержался – ударил.

На волокуши стрельцы покидали пожитки, посадили детей. Помолясь перед выходом, двинулись на восход, по дороге, прихваченной инеем и хрустким ледком. Служилые вели коней, шагали впереди. Бабы шли, держась за оглобли. Так дошли они до Кеми, в зимовье поменяли лошадей на струг и сплавились к устью. Оттуда Енисеем поднялись к острогу.

Отряд стрельцов был замечен на Енисее. Едва они подвели струг к причалу, осторожные ворота распахнулись. Старый воротник вышел первым, обернулся к прибывшим спиной, к часовне лицом, низко откланялся лику Спаса. Притом, будто в насмешку, выпячивал в сторону струга свой тощий зад в холщовых портках.

Тяжко ступая, мелко крестясь, из ворот вышел поп Кузьма. Сотничиха кинулась к нему со слезами, припала к его груди, забила в рыданиях. Попа окружили стрелецкие жены, слезно лопоча о перенесенных муках. С умилением в глазах Кузьма оглаживал их грубыми мозолистыми руками и утешал.

Иван не был в Енисейском с весны. Бросились в глаза перемены. Прежде было две башни, стало три. Из них две – проездные. Шагов на десять расширен был частокол. Прибыло изб в посаде. Филипп Михалев между службами срубил здесь дом.

Крестясь и кланяясь на образа над воротами, Иван вошел в острог. Стены острожной церкви поднялись под стропила. За лето была срублена воеводская изба. Как вестовой Похабов первым делом направился к воеводе. По пути попался ему на глаза Вихорка Савин.

– Привел тебе брата живым! – приветствовал его. Чуть помявшись, спросил: – Савина жива-здорова?

– Что ей сделается? – грубовато ответил стрелец и побежал за острог, к брату Терентию.

Иван сбил шапку на ухо, двинулся напрямиком в съезжую избу. Старейший воевода сидел за воеводским столом, не смея встать навстречу казаку. Младшенькая дочь-отрада чесала ему бороду гребнем. Она то и дело соскакивала с коленей отца, отступала на шаг, любовалась работой. Снова что-то поправляла. Воевода, как кот, жмурился от удовольствия, боясь нечаянным движением или взглядом обидеть дочь.

– Здорово живем, кум? – весело смахнул с головы шапку Иван и стал степенно отвешивать поклоны на красный угол.

Воевода вместо приветствия помигал ему и указал глазами на лавку против себя.

– Ну все, милая! – ласково поторопил дочь. – Красивей уже не сделаешь!

Отроковица, опекавшая вдового отца, как взрослая женщина, строго взглянула на казака и молча вышла из горницы.

– Невеста! – оправдываясь, с обожанием и тоской взглянул ей вслед отец, выдавая печальные мысли. – Не знаю, как отдам? За кого? Как без нее жить буду?.. А отдать надо! – вздохнул. – Разве что вместе с собой в приданое? – улыбнулся в пышную, причесанную бороду.

– Я без тебя ни за кого не пойду! – услышав сказанное, высунулась из двери отроковица. Смутилась казака и с важностью прикрыла дверь.

– Как добрался?

– Слава богу! – поморщился Иван. Передал отписку приказного. – Гостевой двор построили. Амбар накрыли. Рожь сухая теперь. – Он помялся, намекая лицом на недобрую новость.

– Говори! – насторожился воевода.

– Сотник Фирсов утонул! Ну, да об этом тебе стрельцы расскажут.

– Прими, Господи! – тяжело поднялся под образа воевода. Всклипнул: – Добрый был стрелец! Из старых, из настоящих! Вот ведь на днях вспоминал про него! – грузно опустился на лавку. Тряхнул бородой, утешаясь и отвлекаясь от горестных мыслей. – Наше дело служилое! – Он отпер сундук, вынул узелок, развернув его, высыпал на выскобленную столешницу несколько камешков. – Скажи, что это?

Иван долго разглядывал их. Вскинул глаза на воеводу:

– Руда?

– Может быть, и руда! – согласился воевода. – Я не рудознавец. Но вещует сердце, что это серебро. Гляди-ка! – бросил на стол битый ефимок⁴⁶. Велика и богата земля наша, – прошептал со слезным умилением. – Но серебра и золота Бог нам не дал, как другим странам. Оттого промышляем рухлядь и меняем у латинян, – печально кивнул на ефимок.

– Похоже! – пробурчал Иван, сравнивая талер с куском руды.

– А спроси, откуда? – плутовато щурясь, взглянул на него воевода.

– Откуда? – покладисто переспросил Иван.

– От князца Тасейки промышленные люди привезли. Говорят, у глухарей в кишках такие камушки находят. А этот, – шевельнул пальцем другой кусочек руды того же цвета, – с другой стороны. С Рыбного острожка, который нынче тунгусы сожгли. И все на Верхней Тунгуске, недалеко от нас. Вдруг по серебру ходим, сами того не зная? – поднял на Ивана туманные, увлажнившиеся глаза. – Государь наш, бедненький, за каждый талер еретикам кланяется. А мы найдем руду и послужим ему верной службой. И он нас милостями не оставит.

Иван с возмущенным видом замотал головой, спросил с укором:

– Мне-то когда добрую службу дашь? Век, что ли, в ямщиках ходить?

– Максим Перфильев, по слухам, на Стрелке, – посмеиваясь, потер руки воевода. – Ты мне здесь нужен! – сказал ласково, заискивающе, обнадеживая. – Мало людей. А верных – по пальцам можно счесть.

Распахнулась дверь, в воеводскую избу ввалилась толпа прибывших стрельцов. Смахнули шапки с голов, закрестились на красный угол. Расселись по лавкам.

– Наслышан уже про наше горе! – с печальным лицом кивнул на Ивана Хрипунов. – Тяжкая потеря. Батюшке сказали?

– Завтра с утра панихиду отпоет! – за всех ответил Терентий Савин. – А пока велел всем поминать его и читать по Псалтырю.

– Эх, Поздеюшко, удалая головушка! Рученька моя правая! – слезно всклипнул воевода. – Ну, да все мы – люди служилые. Все под Богом ходим! Государеву окладу нельзя быть впусе. Думайте, кого поставим сотником. Без крепкой власти нам никак нельзя.

Воевода помолчал, вздыхая и покачивая головой. Страхнув с глаз печаль, заговорил о деле:

⁴⁶ Ефимок – талер с выбитым на Московском денежном дворе клеймом. Приравнивался к рублю.

– А вызвал я вас с Кети не по прихоти. Как ни отписывался, как ни оправдывался малолетством, и в эту зиму велено нам, енисейцам, возить рожь и соль в Красные Яры, Дубенскому. Ждали облегчения, что прикроет нас его острожек от киргизцев. А вон что вышло. Таскаем и таскаем их животы, когда на обыденные службы людей не хватает. А тут слухи: будто тунгусы с качинскими татарами грозят напасть на нас и разорить острог. Хотят наших ясачных остяков под себя взять.

Лед сковал реки и встала зима. Последние из торговых людей бросили в Маковском остроге свои барки и ушли на лыжах со скупленными соболями. С месяц на Кети было так тихо и спокойно, что казаки перестали выставлять караулы. Но перед Рождеством на льду реки показался большой отряд казаков.

Дед Матвейка, одиноко зимовавший в гостином дворе, первым встретил служилых, отдал им все винцо, которое они нашли в гостевой избе, приплелся в Маковский и велел запереть ворота.

– Разбойники, истинно разбойники, а не принять нельзя! – одышливо оправдывался и поглядывал на своих подначальных казаков разобиженными глазами. – Мудро сказано святыми апостолами: «От врагов как-нибудь убережемся, от своих помог бы Господь спастись!» – По-стариковски поворчал и выругался покрепче: – Наверстали в Томском всякое отребье!

– Сходи! – робко предложил Похабову. – Посмотри, что за люди. Атаман, говорят, тоже под Москвой воевал.

Иван молча нацепил саблю и отправился к гостиному двору, занятому пришлыми людьми. Пятеро оборванных молодцов встали на его пути, заслонив дверь. Свирепо буровили взглядами приближавшегося маковского служилого в добротном шубном кафтане, потом закричали, что приказный не дал им, умученным переходом, того, что должно по указу.

Разговаривать с ними Иван не стал, раздвинул караульных широкими плечами, вошел в избу. Она была битком набита людьми. Горел очаг. У огня грелись. Одни лежали на лавках, другие на полу. Под образком, в красном углу, сидели двое в кафтанах темно-зеленого сукна и казачьих шапках. Не только по одежде, но и по тому, как взглянули на вошедшего, Иван высмотрел подлинных казаков. Те тоже с любопытством уставились на него.

Как ни постарели товарищи, а Гришку Алексеева Иван узнал по мутному, будто всегда пьяному, взгляду. Глубже врезались в переносицу складки кожи, гуще стала борода, лицо посекалось морщинами, но это был все тот же дурной и отчаянный Гришка-атаман. Под Москвой он был старше Ивана. Воевал под началом князя Пожарского под Тихвином, под Калугой. Вместе с хопровскими станицами сидел против шведа под Новгородом. Чуть не из каждого боя выходил легко раненым.

Когда казаки в пику боярам сажали на московский престол Михейку Романова, Гришка уже атаманил. После разгрома под Новгородом станичники отправили его с жалобами к царю. За кремлевский бунт боярские холопы бросили выживших казаков в застенки Троицкого монастыря. Затем, царской милостью, на одном козле пороли кнутами матерого атамана Григория с юнцом Ивашкой Похабовым.

Почему с Гришки головы не сняли, как с других атаманов, он и сам тогда понять не мог. Наверное, вступились за него перед царем князь Пожарский и воевода Палицын, под началом которых Григорий с братом Василием воевал под Торопцом. Еще до высылки в Сибирь Ивана Похабова братьев Алексеевых сослали на службы на Иртыш-реку.

Не сразу, но узнал Иван и Василия Алексеева, брата Григория. Этот в кремлевском бунте не участвовал, в троицких застенках не сидел. Миловал его Бог.

– Эй, казак? – мутным взором впился в Ивана хмельной Григорий. – Где я твою морду видел?

– Возле Кремля, верхом на козле! – раздвигая томских людей, протиснулся к нему Иван. – Поровну нас тогда одарили, да не по чину. Я был малолеток, а ты – атаман!

– Похаба-а, что ли! – загоготал Григорий, вставая. – Е-е-е! Ну и бородачи у тебя отросла! Оба брата с хмельной навязчивостью стали обнимать казака:

– Слыхали, что в Енисейском служишь. Вон где встретились. Как там, на Енисее?

– Все скажу, ничего не скрою! – радовался встрече Иван. – Сами-то с чем пришли?

– Отправлены воеводой вам в помощь! – с важностью объявил Григорий. – Только нынче брательник – атаман, а я у него в есаулах! – кивнул на Василия. – Калмыков, киргизов воевали. Теперь посланы против качинских татар!

– А я здесь, в Маковском служу! – признался Иван. Хвастать было нечем. – Приказный послал к вам. Напугали старика.

Григорий самодовольно захохотал, скаля щербатые зубы в бороде.

– Нас три десятка голодных, промерзших, а он краюху хлеба на стол и одну кружку вина. Зачем звали, если так встречаете?

– Воевода нальет, не поскупится! – пообещал Иван и стал рассказывать о Енисейском остроге. Говорил и думал: «Как отпроситься у воеводы идти с ними на дальнюю службу?»

В избу протиснулся русского вида молодой мужик в драном бараньем тулупчике, в шлычке. Вывалил у печки охапку дров, услужливо, как ясырь, стал подбрасывать их в огонь. Пламя высветило лицо в негустой курчавившейся по щекам бороде. Иван в недоумении окрикнул:

– Угрюмка?

Человек боязливо вздрогнул, оглянулся и узнал брата.

Атаман с есаулом опять захохотали.

– Оттого и узнали тебя так скоро, что ведем тебе кабального брата.

– Отчего кабальный-то? – Иван схватил Угрюма за руку и усадил рядом с собой.

– Был в бухарском плену! – неохотно признался тот. – Долго рассказывать, – отмахнулся, пугливо озираясь.

Толпа в избе злобно и язвительно зашипела. Из угла кто-то бросил:

– Магометане православного по добру не отпустят! Или ятра⁴⁷ вырежут, или зад нарушат. А мы, по милосердию, его в избу пускаем.

Глаза у Ивана полезли на лоб. Он испуганно взглянул на брата. Тот, обидчиво мигая, замотал головой. Под вспухшими веками замерцали горячие, настрадавшиеся глаза. Заговорил торопливо, цепляясь потрескавшимися пальцами за рукав Ивана:

– Выкупил и отпустил меня бывший русский, принявший магометанство. А Лука Васильев, татарин-выкрест, что у вас на кружечном дворе служил, был там в посольстве. Он вывез меня из Бухарского царства и объявил ложно, что купил. Казаки Бунаковы ради дружбы с тобой меня у него выкупили. Дали десять рублей. Не кабальный я, должник! – выкрикнул Угрюм, озирая злорадствующий сброд. Видно, в пути претерпел много унижений от этих людей.

– Далеко пошел кабацкий сиделец! – процедил сквозь зубы Иван.

– Нынче в сынах боярских служит! – поддакнул Григорий.

Поддержанный в обидах, Угрюмка встрепенулся, стал с жаром оправдываться:

– Наш бывший, теперь магометанин, дал ему даром покупную грамоту на меня, чтобы из Бухары вывез. А тот в Томском, среди своих, русских, объявил меня ясырем. Это по-христиански?

– А кормить-поить в пути? – строго взглянул на кабального атаман Василий. – А одеть к зиме? Все тебе даром? Даром отпустили! Даром привезли!

Угрюм злобно блеснул затравленными глазами, засопел, опустив голову. Сердце Ивана сжалось от жалости к непутевому брательнику. Он поднялся с лавки, показывая, что сегодня ему не до разговоров.

⁴⁷ Ятра вырежут – кастрируют.

– Вода в реке, дрова в лесу! – сказал. – Казенного харча у нас нет, только окладной. Атамана с есаулом жду в гости. Остальные, если прожрались до срока, – дери заболонь и вари!

Толпа приглушенно заворчала. Он же подхватил брата под руку, вышел из избы. До острожка шли молча, каждый думал о своем. Иван ни о чем не пытал Угрюма: захочет – сам расскажет. Догадывался, что тот повидал столько – в пору везти в Москву, в Сибирский приказ.

Будто угадал его мысли Угрюм и забормотал с обидой:

– Томские воеводы пытали. То сапоги и кафтан сушили, то кнутом грозили. Едва отбрехался. А то бы не отпустили.

– Не захотел, значит, пострадать Христа ради? – безучастно спросил Иван. Угрюм метнул на него удивленный взгляд, пожал плечами, отмолчался. Старший с затаенным вздохом, тихо спросил: – Через кого Бунаков велел долг вернуть?

– Ваш ссыльный новокрест Ермес на бунаковской сестре женился. Томские воеводы поверстали его в оклад сына боярского. К весне обещают прислать в Енисейский. Его жене Петр Бунаков велел долг отдать. Кабала у нее. – Он помолчал, шаркая расползшимися чунями по снегу. Добавил вдруг: – А мои клейменные меха твои дружки, Ермоген с Герасимом, спалили.

– Живы? – встрепенулся Иван.

– Мы с Пендой промышляли возле Ламы. А Михейка Омуть с монахами зимовье ненароком подожгли. Все сгорело. И пищаль.

– Далеко ходили! – удивился Иван. – У нас в остроге про те места никто не слыхивал.

– Не говори никому, – боязливо насупился Угрюм. – Затаскают с расспросами. А то и под кнут положит.

Вспоминал Иван прошлые встречи, с грустью надеялся, вдруг на этот раз все сладится и будут они жить как братья.

– Мне-то расскажешь? – спросил с усмешкой в бороде.

Он вел Угрюма в свой тесный дом. Приметил, как дрогнули его глаза, когда увидел Меченку. И она его узнала. Смутились оба. Пелагия задрала длинный нос и поджала губы в нитку, становясь безобразной, привычно прикрыла платком пятно на щеке. Равнодушно посмеиваясь над ними обоими, Иван велел жене накрыть стол. Знал, что она будет возиться долго, схватился за шапку, оставляя их с глазу на глаз, чтобы обвыкли.

– Баню затоплю!

– Хорошо бы с дороги! – пробормотал Угрюм, опускаясь на лавку в сиротском углу. Скинул драный тулупчик. Из кутного угла бойко выбежал Якунька, устался на незнакомца. Угрюм неумело поманил его, и тот подошел, не испугался нового человека.

– Сильно похож на Ивашку! – тихо сказал Меченке про племянника. Не знал, как вести себя с ребенком. Она радостно вспыхнула, покрасивела. Блеснули бирюзовые глаза. С легкой грустью, старой и отсохшей кручиной, вспомнилось Угрюму, как когда-то эти глаза обнадеживали его счастьем.

Ни с ребенком, ни с Меченкой говорить ему было не о чем. Он сдвинул брови, устался под ноги, почувствовал, что его молчание начинает злить хозяйку. Хотел уже выйти следом за Иваном, но в избу шумно ввалились братья Сорокины и верткий Василий Колесников с нескладной женой. Несуразно размахивая длинными руками, она взревела густым басом:

– Слыхали, брат нашелся!

За гостями втиснулся Иван. Подхватил сына с полу, забросил на теплую печь. Осторожная избенка была так полна народом, что хозяйка с облегчением в лице села в красном углу. Иван строго напомнил ей про стол. Она вскочила.

– Сидите уж, – трубно проголосила Капа. – Говорите! Сами баню истопим, пива принесем.

Угрюма подтолкнули в красный угол. Место у печки освободилось. Сорокины сели на лавку против него. Уставились на промышленного с любопытством. Угрюм отвечал односложно, неинтересно.

– Был где-то. А где, и не знаю. Шли рекой, потом притоком. Промышляли. То ли татары, то ли киргизы напали, пленили. Долго везли куда-то степью.

Меченка слушала его вполуха, передвигала котел с места на место. На столе так ничего и не появлялось. Вскоре братья Сорокины ушли с обиженными лицами. Колесников посидел еще, дотошно выспрашивая про места, где бывал гость, про тамошние народы. Поймал Угрюма на лжи:

– Ты ведь только что говорил, что промышляли на Тунгуске, а почему пленили на Каче? Угрюм сделал свое лицо тупым, а глаза мутными. Помолчав, признался:

– С тех пор как кистенем по башке вдарили, чего-то помню, а чего-то не помню. Где-то на Каче, наверное, промышляли.

Вернулась Капитолина. Принесла свежего хлеба.

– Перед баней не наедайся, – пророкотала ласково. – Подкрепись только. Попаришься, после накормим.

Поев принесенного хлеба с квасом, Угрюм снова поднял усталые глаза на пытливого стрельца, который все еще ерзал на лавке.

– Умучал бедного! – взревела на мужа Капа. – Дай отдохнуть с дороги!

– Не ори, дура! Оглохнем! – огрызнулся Васька, но вопросов больше не задавал.

Подошла баня. Иван потянул брата за собой. У дверей, из-за которых клубами валил пар, оба скинули одежду, влезли на полоч.

– Как спина у тебя разукрашена? – удивился Угрюм.

– А ты и не знал? – тоскливо опустил глаза Иван. Тряхнул бородой. – Откуда? Все врозь да врозь. Доля нам такая, что ли? Все братья как братья! А мы. – Вздохнул, поскобливая ногтями розовеющую кожу, пожаловался: – Ты матери не помнишь. А я, прости господи, смолоду все думал: ни за что не женюсь на девке, если будет на нее похожа. А вот ведь досталась жена и криклива, и ленива, и жадна!

Про шрамы от кнута и сабель не сказано было ни слова, про то, как досталась Ивану в жены Меченка, – тоже. Угрюм не спрашивал, Иван не вспоминал. Напарившись, они вернулись в дом. Стол был накрыт. Братьев терпеливо ждал весь острог во главе с приказным стариком. Боком-боком, гость с хозяином едва втиснулись за стол.

Отдохнув, отряд атамана Василия Алексеева ушел по зимнику на Енисейский острог. Иван записал брата Егория-Угрюма гулящим человеком из промышленных сибирских людей, оплатил за него годовую пошлину. За прокорм брал его с собой и посылал на работы со служилыми. Он привыкал к младшему, наблюдал за ним и все удивлялся, как ловко тот умел прикинуться глупым или врал так нескладно, что слушатели начинали плевать, корить Ивана. Тот разводил руками, хмуро спрашивал недовольных:

– Тебя кистенем по башке били? Нет? Тогда хочешь – слушай, не хочешь – не слушай. Но помалкивай.

Сам он, как ни мало знал Угрюма, понимал: много чего брат знает и скрывает. Когда они оставались вдвоем, лицо Угрюма менялось, скованный язык развязывался, а глаза блестели умом. Как-то Похабовы рубили дрова в лесу. Лошадь, запряженная в сани, грызла сено, позвякивая удилами, и переминалась с ноги на ногу. Братья сидели у костра, отдыхали, грели на прутках куски вареной козлятины.

– Жил у братьев, – смежил глаза Угрюм. – У них мясо, варенное на кизяке, куда-куда!

– Какое Бог дал, такое едим, – озлился вдруг Иван. Мотнул головой с заледеневшими глазами: – Мне-то скажешь правду?

– Скажу, ничего не скрою! – оглядываясь, смущенно пообещал Угрюм. Вскинул глаза на брата: – Только ты призовешь ли Бога во свидетели, что до самой кончины своей никому не откроешь того, что скажу тебе.

– Призову! Ей-ей, – неохотно пожал плечами Иван и перекрестился. – Никогда бес не мучил выдавать чужих тайн.

– Слушай же! – чуть волнуясь, начал брат.

Вскользь он упомянул о промыслах в верховьях Мурэн. Как его, обнищавшего после пожара, сманил к себе в улус князец Куржум. Прельстил не только халатом и сапогами, но и надеждой на сытую, спокойную жизнь, которая тогда уже не представлялась промышленному среди русских сибирцев.

Непривычный к верховой езде, Угрюм ерзал в своем седле с холки на холку и думал только об одном: как сделать другое – мягче, удобней и красивей. Если балаганцы пускали коней рысью, его кобыла тоже переходила на тряский бег. Угрюм багровел от боли в паху, тянул на себя недоуздок или поддавал плетью, чтобы кобыла перешла на галоп.

Баатар Куржум и десяток его молодцов, вооруженные луками и пиками, два дня ехали пологим левым берегом Ангары. Каменистый яр противоположного берега стал положе, лес реже. На другой стороне реки открылась холмистая степь. Лошади вынесли людей к месту, где на отмели обсыхали бревна плота из неошкуренного леса.

Молодцы Куржума спешили, волосяными веревками привязали к седлам по бревну, гужом потянули их против течения реки до поворота с длинной песчаной отмелью. Там они связали бревна. Спешился и сам Куржум, важно взошел на плот, завел на него своего всхрапывающего жеребца. Его люди сложили пожитки, оружие, седла. Своих коней они связали в один повод.

Молодой толстый балаганец, на заводном жеребце без седла, зарысил с караваном по песчаной косе. Кони все глубже погружались в воду и наконец поплыли, вытягивая над водой ноздри и прядая острыми ушами. Толстый балаганец весело орал и охал, показывая, как холодна вода. Плот тоже отчалил. Все, кроме князца, проталкивали его шестами, пока позволяла глубина реки, затем течение понесло его на стрежень и дальше, к противоположному берегу. Все стали дружно грести шестами и гребли, пока один из молодцов не вскрикнул, достав дно. Кони уже выходили из воды, отряхивали шкуры и весело махали мокрыми хвостами. Толстый балаганец с посиневшими пятками прыгал на песке, орал, требовал свои штаны и сапоги.

Многотрудное дело было сделано. Мужики долго сушились, валялись на солнце и грызли сухой творог. До вечера было далеко. Заскучав, они оседлали отдохнувших лошадей и поехали в обратную сторону другим берегом. Лес сменился обширными полями, окаймленными пологими склонами гор с лесом по хребтам. Здесь резко, как в степи, пахло скотом. Вскоре завиднелись юрты с пасущимися стадами. И такой мирной, такой беззаботной показалась Угрюму жизнь кочевников, что он им позавидовал, вспоминая о вечной промышленной нужде, о нескончаемой изнурительной работе.

Прошел месяц. Угрюм прижился среди балаганцев. Своего дархана у них не было. Пришелец был окружен уважением и заботой. Куржум подселил его в семью родственника, невысокого, но дородного братского мужика, имевшего четырех дочерей. Звали его Гарта Буха.

Жили балаганцы спокойно и сытно, не изнурия себя ни постами, ни молитвами. И только в дожди или в бури, когда мог уйти и погибнуть скот, все мужчины выходили к стадам, бедствовали ночами, а то и сутками. Но налаживалась погода, и снова начиналась беззаботная жизнь.

Угрюм жил с семьей Гарты в войлочной юрте. Домочадцы поднимались поздно, он вставал первым, тихонько шел к речке, умывался, крестился и кланялся на восход, читая утренние молитвы. Затем направлялся к своей кузнице с навесом из жердей, покрытых войлоком. Раз-

дувал горн, доставал припрятанный инструмент: клещи и молот, сделанные из ствола обгоревшей пищали. Навешивал на разгорающийся огонь черный котел с водой.

Из юрты выползала заспанная и сердитая девка, средняя дочь Гарты по имени Булаг. Угрюм звал ее Булкой: так называли хлеб черкасы. Девка напоминала ему что-то круглое. Ее щеки колобками топорщились на широком лице. Из них едва высовывался остренький кончик носа. Глаза у девки были узкие и непомерно длинные. Распахнутыми крыльями морской птицы они взлетали от плоской переносицы до самых висков.

Среди балаганцев не принято было, чтобы мужчина готовил себе пищу. Наверное, отец приставил Булку в помощь дархану, и девка, сонно жмурясь и злясь на ранний подъем, ставила перед ним кувшин с молоком, деревянное блюдо с сушеным творогом. Исполнив свой долг, она уходила в юрту досыпать утренние часы. При этом смешно семенила короткими ножками, переваливаясь с боку на бок.

Угрюм смотрел ей вслед, попивал жирное, густое молоко и посмеивался над убеждением русских промышленных людей, что среди инородцев их ждет только рабство.

Слегка томясь приятным бездельем, он шел собирать кизяк, на котором железо грелось лучше, чем на обычном костре, или уходил рубить березу на древесные угли. Работы было немного, он делал ее быстро и весело. Радовался, что язык балаганцев становится ему все понятней.

Свое седло он подарил Гарте и сразу стал делать новое. Но и его пришлось подарить знатному мужику, так как своего коня все равно не было. Вскоре Угрюм высмотрел на соседнем стане молодую крепкую кобылу. Несмело поторговавшись, купил ее за пятнадцать соболей и привел в стадо Гарты. Теперь можно было делать седло для себя. На его работу уже никто не зарился: есть лошадь, нужно седло. Все было ясно и понятно.

Случались несурезицы. Как-то утром, маясь бездельем, Угрюм с мешком в руках стал собирать прошлогодние лепехи кизяка для кузницы. Его заметили из юрты. Прибежала Булка, вырвала мешок из его рук и стала собирать кизяк сама. Угрюм ходил рядом с ней, пытался помочь. Но девка обиженно вскрикнула, указывая рукой на стан: «Туда иди, не лезь не в свое дело!»

Остренький кончик носа смешно высовывался из пухлых щек. Тряслись полные губы, дрожал кругленький подбородок, а в глазах блестели слезы.

В благодарность за заботу о себе Угрюм выковал для нее браслет из старого, продырявленного медного котла и украсил его простеньким узором. Он долго тер медь войлоком, и безделушка заблестела как золото. А когда утром пришла Булаг, чтобы накормить дархана, тот взял ее руку и надел браслет на запястье. Девка ахнула. В поллица распахнулись ее глаза-крылья, и Угрюм заметил, что они у нее не черные, а темно-карие.

Булка убежала в юрту веселой и счастливой. Весь день она угождала кузнецу и бросала на него ласковые взгляды. Но уже к вечеру Угрюм приметил, что чем-то рассердил семью Гарты. Сестры Булки поглядывали на него озлобленно. Их отец досадливо хмурился. Непонятный холодок появился даже между ним и Булкой. Вскоре прискакал косатый молодец из свиты князца. В поводу у него шла оседланная заводная лошадь. Посыльный велел дархану ехать к Куржуму.

Ничего не понимая, Угрюм отправился на стан баатара. Поджарый, как тунгус, долгоносый и большеглазый князец в простом халате, без оружия, стоял возле туши забитого бычка и советовал домашним, как его разделывать. Он обернулся к подъехавшим всадникам, приветливо взглянул на своего дархана.

Вестовой еще в пути растолковал Угрюму, что князца замучили жалобами племянницы: им хотелось иметь браслеты, как у сестры.

– Сделай всем украшения! – приказал Куржум, когда кузнец спешился и поклонился ему.

Угрюм понял его слова. Про награду князец умолчал. Поэтому, плутовато ухмыльнувшись, кузнец стал говорить и объяснять знаками, что старого котла не хватит, нужна медь. Князец ушел в белую юрту. Сын или племянник-отрок вынес стертую медную бляху с конского нагрудника, сунул ее в руки кузнеца. На том разговор был закончен.

Как всегда, окруженный толпой чернявых любопытных ребятишек, Угрюм, не спеша, сделал еще три браслета. Мир среди сестер налажился. Но кузнеца за работу никто даже не поблагодарил.

Вскоре Гарта Буха отдал замуж двух старших дочерей. В юрте стало просторней. Угрюм присматривался к обычаям здешнего народа и находил их разумными, хотя не все ему нравилось.

Родня женихов пригнала в дом свата десяток кобылиц и столько же коров. Сверх того за невесту была дана отара овец и другие подарки. Три дня на стане пировали. Старики пили тарасун и хорзо⁴⁸. Жениху и молодым гостям позволяли пить только квашеное молоко, дескать, им и так весело от их молодости. Все подарки были отданы молодым супругам. Сверх того прибавлено от дома отца.

На Руси если молодец-удалец забрюхатит девку до замужества, той от позора хоть в петлю. А если она родит несчастного нагулянного ребенка, сородичи даже его внукам будут припоминать, что они бл...ны дети. Здесь, в степи, если девка рожала младенца, то без скандалов и упреков родители брали его на свое воспитание и выделяли долю из наследства. Дочь же выдавали замуж как всякую девку без приплода. А не жилось молодым супругам, так они разводились. Спорили не столько из-за обид, сколько из-за подарков, полученных со стороны родни мужа и жены.

Примечал Угрюм, что народ, среди которого он жил, весел и шутив с единоплеменниками. Гости из других родов тискали девок и отпускали такие шутки, за которые на Руси родня непременно полезла бы в драку. В лучшем случае за подобные намеки русские девки выцарапали бы глаза своим парням.

Между тем чем больше понимал Угрюм балаганцев, тем меньше ему хотелось показывать, что он знает их язык.

После сытного, жирного обеда вся семья Гарты лежала в юрте. Войлок со стен был поднят. Потное тело с радостью ловило всякое дуновение ветра. Гарта, почесывая тучный живот, то всхрапывал, то начинал говорить, зевая, и все шутил с дочерью Булаг, которой подходила пора идти замуж.

– Что скажешь, красавица? Дырка под животом не сильно чешется? – спрашивал посмеиваясь.

Булаг строптиво фыркала. Необидчиво отвечала:

– Нет еще! И женихи хорошие не приезжали.

– Может, за нашего кузнеца тебя отдать? – похохатывал отец, думая, что Угрюм его скороговорки не понимает. – Он на голову выше всех наших женихов. Сыновей от него родишь высоких, красивых.

Булка снова фыркала:

– У него лицо мохнатое, как у медведя! Не пойду за медведя!

Жена Гарты, с рыхлым черным лицом, посеченным неглубокими морщинами, поддерживала мужа, не то искренне, не то шутя, – этого Угрюм не понимал.

– Дом сделает теплый. У него руки масляные. Шаманов злые духи мучают, а дарханов – боятся.

– Не пойду ни за шамана, ни за дархана! – фыркала Булаг.

⁴⁸ Хорзо – молочная водка, простая и крепкая, после тройной перегонки (*бур.*).

Отец и мать с ней соглашались. Начинали расписывать достоинства другого жениха, которого Угрюм не знал. И так, пока опять не всхрапывали.

Угрюм сбился со счету дней и праздников. Судя по траве, был август, Спас. От Куржума опять приехали два молодца. В пути сказали, что князец зовет толмачить. К нему, дескать, прибыли люди-зверовщики.

Угрюм вошел в белую юрту, поприветствовал балаганцев по их обычаю, заметил сидевших напротив Куржума трех русских промышленных. Лица их были темны от солнца, бороды выгорели желтыми прядями. Захлестнуло сердце знакомое до боли пережитое бездолье пути.

Промышленные мельком, отчужденно, взглянули на толмача как на чужака. Их неприязнь больно кольнула Угрюма. Он сел, куда указал князец.

– Дело к зиме! – хмуро и важно объявил старший из гостей, передовщик в русой бороде. – Шли мы на Елеунэ. Но пора уже к зиме готовиться. Мы бы промышляли до весны соболишек и другую рухлядь за горами в лесу. Зимовье бы там поставили и жили бы до весны. А вам бы после промыслов сорок соболей дали, чтобы жить без ссор и обид.

Угрюм выслушал их, перевел как сумел. Куржум с важным и строгим видом переговорил со стариками, сидевшими по бокам и за его спиной. Те советовали спросить с чужаков соболей вдвое.

Передовщик выслушал Угрюма, недоверчиво, с подозрением блеснул глазами, никак не признавая родства по крови, хотя у толмача поверх халата висел кедровый крест.

– Много! – тряхнул бородой. – Места здесь бедные. Если не сойдемся на сорока, пойдем дальше.

Торговались они долго, но бесстрастно. Неприязни друг к другу не показывали. Куржум напирал на то, что на его земле они могут зверовать безбоязненно: никто не тронет ни их жилища, ни их ловушек. Сошлись на пятидесяти соболях.

По обычаю после договора и рукобитья Куржум стал угощать гостей и расспрашивать о землях, где они бывали, о народах, с которыми встречались. Угрюм узнал, что ватага вышла с Подкаменной Тунгуски, где промышляла не совсем удачно. Не удержался, прихвастнул, что сам промышлял много лет на Нижней Тунгуске с Пантелеем Пендой.

Промышленные недоверчиво взглянули на него, но ни о чем не спросили. Угрюм стал сердиться, примечая, что они не принимают его за своего, осторожничают хуже, чем с братскими мужиками. И сколько ни пытался начать с ними свой разговор – гости отвечали односложно, никак не интересуясь, отчего он живет среди братьев.

На прощание Угрюм сам сказал, что не только толмачит у князца, но и работает кузнецом. Ему казалось, такой человек, как он, русским промышленным нужней самого князца. Но передовщик равнодушно спросил:

– Захолопили?

– Сам пришел! Позвали. Халат камчатый дали.

Промышленный недоверчиво качнул головой, дескать, чего ни бывает на свете, и больше ни о чем не спрашивал. Угрюм в отместку стал показывать, что среди братьев он свой человек. Говорил громко, шутил с братскими мужиками. На том они и расстались.

Около середины сентября, когда по утрам на поникшую траву ложился иней, а земля становилась звонкой, мимо стана Гарты Бухи проехали пять всадников. Одеты они были будто по-братски, в дорогие, но засаленные халаты. Кос у мужиков не было, а вот оружие, как приметил Угрюм, было очень дорогим и серебра на одежде много.

Всадники по-хозяйски осматривали стада. Женщины притихли, мужики стана Гарты угодливо засуетились. Они зарезали бычка и двух баранов, стали свежевать их. Молодежь вдруг пропала с глаз и попряталась. Все это нимало удивило Угрюма. К нему гости не подъезжали. И пировать они не остались, хотя Гарта приглашал: ускакали в сторону стана Куржума.

Гарта Буха помрачнел и резко постарел. Он приковывлял к навесу, под которым у огонька сидел Угрюм, прошипел потупясь:

– Садись на свою кобылу и уезжай куда-нибудь. Через десять дней вернешься! – Сутулясь, Гарта грузно развернулся и двинулся к юрте. Но через несколько шагов обернулся, взглянул на Угрюма пристально и приказал:

– Возьми с собой Булаг!

Пока Угрюм раздумывал над сказанным, из соседней юрты вышел молодой балаганец, стал торопливо седлать двух коней. На одного посадил Булаг, на другого сел сам. Махнул рукой Угрюму, чтобы следовал за ними. Вскоре стан Гарты скрылся с глаз.

Всадники рысцой уносились к лесу. Угрюм понимал, что его спутник не может быть женихом Булки, так как они близкие родственники. И все же досадовал, что не остался с ней один. Чем дольше он жил на стане, тем больше влекла его эта смешная отроковица, входящая в девичью пору.

В лесу Угрюм быстро и привычно срубил шалаш, развел огонь. В черед с братом Булаг всю неделю они охотились, стреляли из луков. К добытым Угрюмом тетеревам девка и ее брат не прикасались, брезгливо смотрели, как дархан щиплет и печет птицу. Сами они голодали или пекли жесткую дикую козлятину, спали, укрывшись одеждой. Через десять дней, как приказал Гарта, вернулись на стан.

На первый взгляд все было как прежде: пасся скот, юрты стояли на тех же местах. Но жители стана стали сумрачны и неприветливы. Сам Гарта выглядел усталым и постаревшим. Жена его, мать Булаг, вышла к дочери с опухшим от слез лицом.

С ее слов Угрюм понял, что младшую сестренку Булаг увезли мунгалы. Он стал сбивчиво говорить Гарте, что можно подговорить промышленных людей и отбить девку. Старик поглядывал на него печально и досадливо, никак не отвечал на слова.

Пришла зима, перетерпелось горе. Опять с утра до вечера возле кузницы толклись братские детишки, а Угрюм с важностью человека, владеющего ремеслом, ковал для всех приезжавших соплеменников Гарты и Куржума. В начале зимы на балаганцев свалилась новая беда – снег. Он падал и падал, а ветра, чтобы вымести его, все не было.

Кони тоскливо копытили сугробы, разгребая засыпанную снегом траву. К ним кидались голодные быки и коровы. Бараны и овцы сбивались в тесные кучи. Совали друг другу под брюхо лопухие головы и стояли, безмолвно ожидая голодной смерти. Облепленные снегом, братские всадники носились от стана к стану, передавали распоряжения Куржума и Бояркан-хубуна.

Юрты стана были торопливо разобраны и навьючены на лошадей. Оставалась только одна – юрта Гарты Бухи, хотя были уложены для перекочевки все пожитки. Мужики забили и разделали пару жеребят. Женщины в тулупах и меховых шапках варили мясо у костров. Затем все в тяжелой зимней одежде собрались в юрте Гарты, неторопливо наелись жирного мяса, чтобы не мерзнуть в пути. Лица людей были напряжены и озабочены. Они изредка переговаривались о насущном.

Наконец мужчины разобрали и погрузили на коней войлок с последней юрты. Связали в одно ее решетчатые стены и воткнули их в глубокий снег. К ним привязали гужи из волосяных веревок. Как в бурлацкие постромки, впрягли в них двух сильных одnogорбых верблюдов.

Одни мужики, утопая в снегу, стали погонять их криками и плетью. Другие налегли на решетки, как пахари на сохи. Верблюды задрали морды, взревели. Напряглись бугристые жилы под длинной шерстью. Дрогнул сугроб и развалился надвое, как земля под плугом. И обнажилась степь. За вислыми хвостами верблюдов вспучился снег. За решетками оставался глубокий ров с поникшей сухой травой. По этому проходу пошли кони и коровы. Хватая заснеженную траву, с блеянием побежали овцы, торопливо подъедая все, что оставалось после крупного скота.

В тот же день стан Гарты соединился с другими станами Куржума, а потом со станами и стадами Бояркана. Лава скота и людей двинулась к горам.

Работали балаганцы много и много ели в пути. А для Угрюма этот тяжелый переход казался обычным. Без натуги пережил он и эту беду.

Пришла весна. Буйно зазеленела степь. Кобылка Угрюма разродилась пегим жеребенком. К Гарте приехали важные сваты какого-то сильного рода. Они долго сговаривались и пировали с хозяевами. Не оставался в стороне от пирующих и Угрюм. Он сидел с ними за одним столом, ел и пил со стариками молочную водку. Ему, кузнецу и пришельцу, этого никто не запрещал.

Прибыл жених. Среди родственников он держался важнее всех: надувал щеки и начальственно поглядывал на пирующих. Угрюма жених не замечал. Он был молод, по братским понятиям красив: в высокой шапке, шитой серебром, в серебряной опояске, при сабле.

На стане с восторгом говорили о том, что за Булаг родственники жениха дают сорок кобылиц. С легкой печалью посматривал Угрюм на Булку, наряженную так, что она походила на навозного жука. Прежняя смешливая девка казалась ему чужой, будто и неживой. Понимал кузнец, что не ему, бедному и безродному, она готовила себя в жены, а шутки Гарты были только шутками.

Невеста уехала на стан жениха по вечному зову крови и по ее закону. Угрюм, как и прежде, ковал лошадей, вытягивал и точил сломанные ножи. Он вдоволь спал и вдоволь ел. Железо, данное князцом, кончилось. Пришлось пустить на подковы тайный запас. Дархан уже понимал, что при кочевой жизни своего богатства от чужих глаз не утаишь, лучше самому свое отдать – вдруг и наградят. Если возьмут твой припас силой – награды не дождешься.

Он соглашался с чужими нравами: думал, увезли приглянувшуюся девку – найду другую. Жить бы да жить – радостно озирал сытую дремлющую равнину.

Как среди промышленных, так и среди братьев, по вечному человеческому закону, беда сменялась радостью, радость опять оборачивалась бедой. В начале лета Бояркан-хубун, старший брат Куржума, велел собирать всех молодых мужчин, способных носить оружие. Приказал готовиться к походу и дархану-кузнецу.

Мунгалы велели главному братскому хану Аманкулу, князцу эхиритских родов, собирать войско против киргизов. Эхириты кочевали на другом берегу реки. Братский хан прислал оттуда вестовых с приказом идти на войну с его людьми.

Знал Угрюм, что балаганцы и эхириты жили в неприязни. Аманкул, по словам балаганцев, был поднят на белой кошме не по праву рождения, а по прихоти мунгал. На балаганских станах хана злословили, но ослушаться его приказа не решались. Мужчины, кому было на кого оставить семьи и родителей, стали собираться на войну.

Куржум в серебряных доспехах прискакал на стан Гарты Бухи с молодцами своей свиты. Среди них Угрюм узнал мужа Булаг. Князец сам проверил, как одеты, как вооружены люди стана. Угрюму велел оставить свою кобылу с жеребенком в табуне и взять трех сильных коней.

– На одном и другом поедешь сам, на третьем повезешь все, чтобы ковать в пути! – пояснил, когда дархан взял поводья. – Грузовое седло сделаешь.

– Железа нет! – пожаловался Угрюм. Он понимал, что нужен князцу как кузнец, а не как воин. И это его радовало.

– Будет железо! – объявил Куржум. – Добудем! – Большие черные глаза блеснули. Он улыбнулся кузнецу и даже пошутил: – Увели невесту? Добудешь другую у киргизов или у аринцев. И железо добудем.

Угрюм осклабился, не зная, что сказать и как понимать сказанное. Братские князцы слов на ветер не бросали, но любили говорить с двойным смыслом, до которого нужно додумываться.

После пира на стане Куржума его люди вышли в поход. Через день у реки они соединились с воинами Бояркана. Два брата в блестящих доспехах и шишаках ехали впереди войска.

Угрюм тащился в его хвосте, харкая и отплеиваясь в беспросветной пыли, прислушивался к разговорам балаганцев. Часто слышал, что они называют хана Аманкула сыном раба. Кузнец помалкивал и побаивался, как бы балаганцы с эхиритами не передрались в пути. Распря его пугала.

Войско балаганцев переправилось через реку в знакомых местах между порогами, которые с таким трудом проходили промышленные малой ватажкой. Они пошли знакомым притоком к его верховьям, неподалеку от тех мест, где ватажка нашла струги.

В пути к ним присоединялись кыштымы. И уже не понять было где кто. Угрюм стал пробиваться ближе к Куржуму и его брату. Возле них, на виду, ему было спокойней. Телохранители князцов ничего против не имели, и скоро у Угрюма завязались с ними приятельские отношения. Один только муж Булаг выказывал ему свое презрение. Как-то послековки он объявил, что дархан плохо подковал его жеребца.

Угрюм спорить не стал. Велел привязать к хвосту коня то самое копыто, на котором якобы подкова хлябает, постучал по ней для виду молотком. Дородный косатый молодец потрогал подкову и остался доволен.

– Теперь хорошо! – сказал важно.

На ночлег Угрюм стал устраиваться неподалеку от белого шатра братьев. Охране это казалось правильным: дархан всегда должен быть под рукой, чтобы его не искать.

Войны Угрюм не видел и в ней не участвовал. Воевали где-то впереди. Проводили пленных в пропыленных драных халатах. Они яростно чесались и ничуть не походили на грозных воинов, с которыми не могли сладить мунгалы.

И вот как-то под утро при первых бликах рассвета всполошился весь стан. Стрела просвистела над головой кузнеца. Другая воткнулась рядом с костром. Угрюм вскочил, стал натягивать сапоги. Возле белого шатра дрались. Слышались крики и лязг железа. Угрюм подхватил седельную суму. Две подковы сунул в карман.

И вдруг волосяной аркан захлестнул его плечи. Земля вырвалась из-под ног и понеслась на розовеющий восход. Он хватался за веревку, пытался встать. Камни и сучки драли камчатый халат. Шапка слетела с головы. Угрюм обессилел и перестал сопротивляться. Наконец, от боли и удушья померк свет в его глазах.

«Вот и все! – подумал. – Отче Егорий, моли Бога за меня! Отче Никола».

Выбираясь из кромешной тьмы, он услышал неторопливую гортанную речь. С трудом открыл глаза и не сразу понял, утренним или вечерним был небесный сумрак. В голубеющем небе светила утренняя или вечерняя звезда. Руки и ноги были туго связаны. Остро пахло дымом кизяка и мокрой овечьей шерстью. Возле огня на корточках сидели пять чужаков в войлочных халатах, тихо переговаривались.

За спиной Угрюм услышал сиплое частое дыхание. Превозмогая боль, он повернул голову и невольно застонал. Рядом лежали знакомые молодцы из охраны Куржума. Имя одного он не помнил, другого не хотел знать: это был муж Булаг. Дородный балаганец лежал на животе, повернув голову к кузнецу. Тело его было обнаженным, видно, враги прельстились богатой одеждой, лицо – черным от засохшей крови, ухо забито землей. По голове лениво ползали зеленые мухи.

Услышав стон, все сидевшие у костра со смехом обернулись. Один из них, черный, малорослый, кривоногий, поднялся. Нараскорячку, как коромысло, переставляя ноги, приковывал к пленным, перерезал путы на руках Угрюма, затем освободил мужа Булаг. Тот захрипел, уперся в землю тучными руками, с рычанием сел и неприязненно уставился на мужиков в войлочных халатах.

Кривоногий принес воды в глиняной кружке. Балаганец с растрепанной косой жадно осушил ее разбитыми губами, отбросил в сторону и набычился пуще прежнего.

Чужаки насмешливо оглядели его, один спросил на плохом, едва понятном братском языке:

– Какого ты роду-племени?

– От известных людей родился я, – заревел муж Булаг. – Сотворен по воле сына Вечно Синего Неба – Эсэгэ Малаана⁴⁹.

– А тот, который хрипит, кто?

– И он сын известных родителей, рожденный мужчиной! – гордо ответил окровавленный и раздетый балаганец. Упреждая следующий вопрос, пробормотал разбитыми губами, не взглянув на Угрюма: – А это – раб низкорожденный.

Сидевшие у костра на миг забыли о пленных и громко заспорили между собой. Вдруг спор утих. Чужаки посидели какое-то время молча. Затем поднялся все тот же кривоногий. Подхватил чекан с кривым клювом, зашел со спины балаганца, беззлобно, как забиваемую скотину, ударил по виску большой головы. Дайша мешком завалился набок тучным телом. Кривоногий для верности тюкнул его еще раз и в два удара добил другого охранника Куржума.

– Господи, помилуй! – вскрикнул Угрюм, обмирая. И показалось ему, будто кишки его наполнились снегом.

Но кривоногий вернулся к костру, бросил на землю чекан, наполнил кружку водой из родника. Сунул ему попить. Пальцы кузнеца тряслись, вода расплескивалась. Зубы стучали по краю посуды. Угрюм припадал к воде иссохшими губами, глотал и захлебывался.

Кривоногий присел перед ним на корточки, показал две подковы, которые, собираясь бежать, кузнец сунул в карман. Угрюм испуганно и угодливо закивал, будто признавался в грехе:

– Мои. Мои. Мои! – пытался вспомнить, как это сказать по-братски и не мог.

– Уста?⁵⁰

– Дархан – кузнец! – снова залепетал он, уловив в незнакомом говоре тень почтения. Что-то промелькнувшее в черном лице с запавшими, как у покойника, глазами, давало надежду остаться живым.

– Уста! Уста! – почтительно и даже восхищенно залопотали сидевшие у костра.

Ему бросили сырую, недавно снятую с барана шкуру и указали место, где лечь.

Утром вытащили из когла и бросили в его сторону разогретые бараньи лытки. Потом посадили на заводного коня без седла и повезли в полуденную сторону, время от времени отклоняясь на закат.

В пути Угрюм старательно ковал коней киргизцев и всем своим видом показывал, что может быть им полезен. Молота у него не было – ковал рассыпавшимися камнями. С острой ясностью вспоминал нищее, бездольное детство. Будто вернулось оно, и вот снова тошно, низко он выживал. Много молился про себя. Думал с лютой тоской: «Беды меня породили, горе выкормило, злая кручина вырастила. Если на весь век судьба такая – лучше бы умереть. Лишь бы не страшно. Уснуть и не проснуться».

Он думал, что киргизы возвращаются в свое селение. На многолюдном стане его заперли в темной глинобитной избенке. Угрюм приткнулся спиной к стене, сполз на пол и почувствовал, что он здесь не один.

– Ты чей? – с удалью и неуместным весельем спросил из тьмы голос.

– Енисейский промышленный! – всхлипнул Угрюм.

– А я из томских посадских, Пятунка Змеев! – назвал себя он с такой важностью, будто их посадили рядом за званый стол. – Киргизы много наших пленили. Теперь повезут продавать.

– Чему радуешься-то? – слезливо огрызнулся Угрюм.

⁴⁹ Эсэгэ Малаан – мифологический небожитель, покровительствующий людям (*бур.*).

⁵⁰ Уста – кузнец (*тиоркск.*).

– А чего? – хохотнул пленный. – Просидел бы всю жизнь в подручных у отца, старого Змея, да у братьев: я – младший. А тут Бог дал посмотреть, как всякие люди живут, да себя показать! Не понравится – убегу. Я лихой! – снова беспричинно хохотнул во тьме.

Угрюм засопел, прикрыв глаза. Навязчиво вспоминался утробный удар чекана по голове. Этот страшный звук не переставал повторяться в его душе, наполняя ее ужасом. Стоило закрыть глаза, являлось перед ним вытягивавшееся в судорогах тело. «Господи, – опять думал слезно, – за что мне судьба такая?»

Кто-то закричал и закашлял в другом углу. Угрюм стал прислушиваться.

– Нас тут четверо, – громко объявил Пятунка. – Ты пятый!

Утром мазанку открыли. Дневной свет ворвался под кров. Шурящихся пленников вывели. Их лица сливались в одно пятно. Запомнился только Пятунка. Курносый, губастый, с непомерно большим, всегда удивленно открытым ртом, с длинными, конскими зубами, он оглядывался с таким видом, будто собирался выйти на круг плясать: «Эх, где наша не бывала, где не пропадала?»

Горы и лес кончились. Открылась бескрайняя степь с колками берез и осин. Пленных привезли на какую-то речку с вытоптаннами берегами. Здесь было много скота, юрт и шатров. Среди киргизских войлочных шапок мелькали высокие бухарские колпаки, обвязанные шелком. Калмыки и киргизы согнали сюда скот, привезли рухлядь и ясырей для мены. По большей части пленными были русичи. Но встречались и тунгусы с мунгалами.

За Угрюма и за Пятунку торговался сморщенный, беззубый, но резвый бухарец в белом халате. Торговался он страстно. Щупал жилы, кривым пальцем лез в рот. Много, зло и шепеляво лопотал. При этом морщинистое лицо сминалось, как шелковый лоскут, а из беззубого рта летела слюна. Пленные стояли понуро. И только Пятунка все скалил конские зубы да время от времени беспричинно похохатывал, будто от щекотки. Во взоре удаль, в движениях отвага. Опасливо поглядывая на него, Угрюм уверился: «Дурак!»

Узнав, что он кузнец, бухарец принес молот, сунул ему в руку и заставил сделать несколько простеньких поделок. Угрюм старался как никогда прежде, и бухарец остался доволен его работой.

Сторговавшись, киргизы взяли ткани, посуду. Не взглянув на пленных, отошли в сторону. Молодые подручные бухарца тут же сковали купленных за запястья рук по парам. Угрюма сковали с изрядно надоевшим ему Пятункой. Бухарец сам проверял ковку и все кивал Угрюму: вот, дескать, как надо работать. Учись!

Приценивался старик и к русской девке, что была у калмыков. В ее заплаканных глазах мерцал ужас и слезы беспрестанно текли по щекам. Она истошно заорала, когда бухарец полез под сарафан, и выла, когда тот, слащаво ухмыляясь, ощупывал ее грудь.

На ночь Угрюма с Пятункой бросили в яму. В сумерках к ним же столкнули двух томских казаков, которых Пятунка весело окликал. А те в ответ только срамословили сквозь сжатые зубы, считая его придурочным.

И уже совсем в потемках в ту же яму спустили всхлипывавшую девку. Она была без оков.

– Ты откуда? Чья? – весело придвинулся к ней Пятунка.

– Из Тары, с посада калмыки взяли! – прерывисто вздохнула она. – Тятку с братьями побили до смерти. Господи, мне бы умереть без мук! – вскрикнула с новыми слезами.

Пятунка, звякнув цепью, сел рядом с ней, стал горячо рассказывать, что знал от бывалых людей про бухарскую чужбину. Все пленные молча и неприязненно слушали его, думая о своем.

– Дурак, прости господи! – со вздохом пробормотал казак в годах и стал моститься на ночлег в оковах.

Пятунка тихо ворковал, утешая девку. Та вскоре перестала всхлипывать, что-то отвечала ему. Угрюм злорадно усмехнулся во тьме ямы, подумав, как завтра эта девка увидит Пятунку: какой он красавец.

Но шепот пленницы и придурочного малого стал горяч. Угрюм прислушался и ретиво заколотилось в груди его сердце.

– Невинная я! – шептала девка. – Ради кого было беречь себя, если ненужной никому уродилась? Как подумаю, что тот старик первым меня возьмет, – кровь стынет. Уж лучше ты бери! Зачем оно мне, девство мое? Бери его! Бери!

Вкрадчиво залязгала цепь. Послышались жаркое сдерживаемое дыхание, кряхтение и стоны. Сердце Угрюма забилося так, что затрещали ребра. Холодный пот хлынул по телу, щекотно покатился по щекам и груди. Вдруг зазнобило его, да так, что застучали зубы. Взыграла кровь, бунтовала плоть. И корчился он от тех мук, и понимал умом, что за эту ночь Пятунка заплатит так дорого, как он, Угрюмка, платить не хочет.

– Эй вы! – вскрикнул томский служилый. Угрюмка помнил только, что у него выгоревшая борода и нос в лохмотьях отставшей кожи. – Я тоже хочу, я еще молодой!

– Дураки! – презрительно сплюнул во тьме старый казак. – Бухарцы узнают – ятры вырежут.

– Моя! Никому не дам! – сипло прохрипел Пятунка, осаживая разохотившегося служилого. – Убью!

– Дурак! – опять устало прошептал старый казак и с подвывом зевнул.

Едва рассвело, Пятунка стал поглядывать на пленных гордо, с отчаянной удалью. Девка стыдливо молчала. Угрюм не смыкал глаз всю ночь, промучился, как на бараньей шкуре рядом с забитыми телами балаганцев.

Утром их всех хорошо накормили. К пленным присоединили двух кузнецких татар, не обрезанных в магометанство, не крещеных, почитавших шаманов. Всем дали щелока, велели помыться в ручье и выстирать одежду. Бухарский кузнец расковал цепь посередине, так что на запястьях у всех скованных оставались звонкие подвески.

Девка упиралась, не хотела раздеваться при охранниках, при старике-бухарце. Тогда подручные купца по его приказу стали срывать с нее одежду. Девка завизжала. Голый Пятунка взревел, засрамословил. Размахивая обрывком цепи, как кистенем, бросился на охранников, по пути вытянул вдоль спины старика.

Один охранник отлетел в сторону, другой свалился в ручей. Старик выгибался дугой и хватался за поясницу. Но молодые бухарцы выхватили сабли, бросились на разъяренного Пятунку. Старик за их спинами брызгал и давился слюной, размахивал плетью. Пятунка отбивался цепью и весело визжал:

– Врешь, не зарубишь! Дорого за меня заплачено!

Набежали другие бухарцы. Набросили на мечущегося пленника арканы. Свалили с ног, скрутили руки. Старик лупцевал раба плетью по спине. Пятунка только выл и хекал, приговаривая:

– Врешь! Дорого плачено!

Его распяли на колоде. С девки сорвали одежду и загнали в воду. Татары, не поднимая глаз, тихо переговаривались, покорно плескали под мышки и в пах.

Старик привел бухарца в долгополом халате. Тот добродушно осмотрел скалившегося, вращавшего дурными глазами молодца. Велел перевернуть его на спину и шире раздвинуть ноги. Пятунка понял, что собираются с ним делать. Завыл, засрамословил. Бухарец ощупал узлы веревок, вынул короткий нож. Вой Пятунки превратился в вопль и захлебнулся, как визг забитой свиньи. Затих лихой молодец, оскопленный на виду у всех и другим в поучение. Старый казак тряхнул бородой и тоскливо сплюнул на вытопанную землю.

Угрюм послушно помылся, выстирал драный халат и лохмотья портков. Сапоги с него сняли или утерял, когда волокли. Шапки не было. Он присел на солнце посушить отросшие волосы, но охранник поманил его к обмеревшему в беспамятстве Пятунке. Велел отгонять от него мух.

Нет худа без добра. Полумертвого молодца положили на арбу. Угрюм присел рядом. Караван двинулся. Арба заскрипела деревянными колесами. Голова оскопленного молодца моталась на колдобинах. Угрюма никто не сгонял с арбы, не понуждал идти пешком. Скоро Пятунка открыл мутные, красные глаза. Угрюм смущенно пожал плечами.

Старик увидел, что пленник ожил, лягнул в бок кузнеца, сталкивая его с арбы. Охранники привязали к ней обрывок цепи на его руке. И побрел он на закат, покорно переставляя босые ноги по теплой земле.

Так шли они недели три, а то и больше. Со счету дней Угрюм сбился. Впереди и за спиной была только порыжевшая от солнца степь с белыми солончаками да с белыми же скотскими костями по сторонам. Вода в колодцах была солоноватой.

Пятунка быстро окреп. Его одели в добротную белую рубаху и белые портки, кормили отдельно от пленников. Он не шел пешим, как все они, но без цепей ехал в арбе рядом со стариком-бухарцем. Тот его ласково опекал и утешал, поглаживая по спине, обещал устроить ему безбедную жизнь.

Пятунка молчал с отрешенным лицом, никого из прежних знакомых не узнавал, даже на полюбовную свою девку смотрел равнодушно. Он перестал скалиться. Рот его был закрыт, а толстые губы змеились в мстительной усмешке.

Выжженная солнцем степь стала перемежаться сыпучими песками, от которых в полдень веяло в лица жаром костра. С левой стороны, на самом краю видимой земли, засинела полоска гор. Впереди блеснуло зеркало воды и повеяло влагой, от которой заволновались кони, заревели ослы, верблюды и погоняемый скот. Отара овец с бляньем ринулась на сырой дух, обогнала всех впереди идущих. Даже всадники, размахивая плетью, не смогли остановить ее.

Мельтешило марево. Блеск воды становился все резче и ослепительней. И открылось море без края. От него веяло запахом пресной воды. После солончаковых озер и колодцев дух этот трудно было спутать с другим.

Как ни спешили путники к воде, все казалось им, что бескрайнее озеро приближается слишком медленно. Берег его был покрыт густыми зарослями высокого камыша. Скот ломился напрямую, а бухарцы, подъехав на безопасное расстояние, остановились и настороженно оглядывались.

Ничто не предвещало опасности. Скот уже напился и стал выходить на топкий берег. Кое-кто уже спешился. И тут из камыша с визгом выскочили всадники в лохматых шапках и с черными от солнца лицами. Было их всего десятка полтора.

Не успели бухарцы занять оборону, как те, пригибаясь к гривам коней и размахивая дубинами, пронеслись сквозь караван, похватили что успели и скрылись за облаком пыли, ими же поднятой.

Одни кинулись следом. Другие закричали на них. У здешних разбойников было в обычае заманивать за собой охрану и бить ее по частям. Где-то могла прятаться другая ватажка, ждущая, когда вооруженные люди оставят товар.

Охрана каравана сбилась в кучу. Возле арбы старика-бухарца, купившего русских и татарских людей, кто-то закричал, запричитал, как над покойником. Угрюм же глядел только на воду и хотел пить.

Но рабов старого бухарца плетью согнали к арбе. Раскинув руки и ноги, в ней лежал на спине хозяин. Глаза его были широко открыты, а морщинистое горло перерезано от уха до уха. Капля за каплей кровь тягуче стекала под арбу, и горячий песок жадно впитывал ее.

Рабов стали считать. При этом больно тыкали в грудь. Не нашли одного Пятунку-скопца. Обступившие арбу купцы шумно припоминали удиравших разбойников. Рядом с одной из лошадей, держась за хвост и высоко вскидывая ноги, бежал человек в белой рубахе. Это видели многие. Но они приняли бегущего за ограбленного купца, который пытался остановить вора.

Так как скопца не нашли, решили, что он убил хозяина. Рабов заставили копать яму на возвышенном месте. Девоч принудили выть по покойному. Близкие люди слегка обмыли кровь и завернули тело в войлок. Тот самый бухарец, что скопил Пятунку Змеева, велел всем сесть, гортанно почитал молитвы. Убитого в кошме поднесли к яме вперед головой, опустили сидя и забросали песком.

Караван остановился на дневку. Пленным дали воды и еды. Но к камышам никого не подпускали. Утром все двинулись на полдень, к видневшейся цепочке гор. Они приближались, вздымались все выше и выше. И вот встали перед путниками: сухие, скалистые, безлесые. По душным ущельям с иссохшими ручьями караван перевалил хребет и вышел на ископыченные многочисленными тропами объеденные пастбища. Вскоре показался город.

Не помнил Угрюм, сколько брели они по душевой равнине. Запомнились только палящее солнце, скрип колес, рев верблюдов, храп лошадей. Через посад города шли чуть ли не полдня. С той и другой стороны пыльной улицы тянулись высокие глинобитные заборы с узкими лазами глухих калиток. Вдоль тех заборов не было ни травинки, ни кусточка, а только сухая, потрескавшаяся глина да песок. Иной раз от калитки к калитке пробегал человек, с ног до головы укутанный тряпьем, и снова улица становилась безлюдной.

Но за спиной идущих то и дело раздавался шум. Угрюм оборачивался и видел, что караван редееет. Какие-то купцы с рабами и товарами толпятся у распахнутых калиток и утекают в них, как вода в трубу.

Наконец и ему велели остановиться. Племянник зарезанного бухарца окликнул охранников. Те тычками подогнали пленников к воротам. И вот все они скопом: со скотом, тарантасами и охранниками – ввалились в тенистый сад.

Рабы, позвякивая оковами, попадали под деревьями. Где-то рядом суетилась, бегала и покрикивала домашняя прислуга. Куда-то уводили коней и верблюдов. Пленников не беспокоили, им дали мутной теплой воды в кувшине и забыли о них. Двор затих. Угрюм задремал и впал в тяжелый сон.

Проснулся он от звуков, напомнивших удары чекана по темени. Был непривычно теплый и душный вечер, каких не бывает в Сибири. Пряный запах фруктовых деревьев кружил голову. Дранный халат лип к зловонной испарине, выступившей на грязном теле. «Уп!» – повторился разбудивший его звук. С деревьев на землю сада падали тяжелые яблоки.

Позвякивая цепью, кузнецкие татары весело грызли плоды, щурились и чмокали. Угрюм был прикован к их цепи третьим. Увидев, что он проснулся, татарин катнул ему тяжелое яблоко. В стороне, спина к спине, лежали томские казаки. Тарская девка спала на животе, высунув из-под подола черные потрескавшиеся пятки.

Из-за деревьев вышел босой мужик в белой рубахе, в коротких белых штанах, с бритым бабьим лицом. В одной руке он нес деревянное блюдо с лепешками, в другой – кувшин с водой. Увидев спящую девку, склонился над ней, слащаво поцокал языком. Она открыла глаза, села, смущенно одернула сарафан и спрятала босые ноги под подол.

Бритый с ласковым лопотанием поставил возле нее блюдо и кувшин. С его лица не сходила восхищенная улыбка. Он опять поцокал языком, качая головой, ушел, то и дело оглядываясь.

– Вот и женишок сыскался! – хмыкнул томский служилый, подтягивая к себе за цепь старого казака. Взял с блюда лепешку, пожевал. – С яблоками вкусно! – кивнул Угрюму, приглашая к блюду.

Утром опять пришел бритый в белых штанах. Принес лепешек и вареного мяса. Ласково ворковал, не сводя глаз с девки. Вынул из-за пазухи горсть сушеного винограда. Пугливо оглянулся и высыпал ей на подол.

– Холоп! – хрипло вздыхая, зевнул старый казак, больше всех утомленный переходом.

С месяц все они шли рядом, но Угрюм не знал имен спутников. Он ни с кем без нужды не заговаривал и знать никого не хотел. Казаки тоже не баловали его вниманием, шли сами по себе, как и татары.

Два дня пленников не беспокоили и хорошо кормили. Девка без оков свободно бродила по саду, могла уединиться, но далеко от пленников не отходила. К следующему вечеру бритый мужик опять принес еды и каких-то сладостей. Стал манить ее за собой в глубину сада, плутовато и настороженно улыбался. Она мотала головой, не шла. Мужик схватил ее за руку, потянул за собой, лопоча о чем-то горячо и страстно, прикладывая руку к груди.

И тут, как из-под земли, появился молодой бородатый охранник. Он схватил бритого за рубаху, трижды огрел его плетью по спине. Тот с воплем вырвался и скрылся среди деревьев. Охранник строго оглядел скованных, пригрозил плетью и ушел.

– Следят, чтобы не сбежали! – зевнул старый казак. – А куда бежать-то?

От его слов, сказанных равнодушным, утомленным голосом, Угрюм всей душой ощутил, как безнадежно далек от своих людей и как невозможно возвращение в прежнюю жизнь.

– Голодранец, раб! А туда же, – брезгливо проворчала девка и пристально взглянула на томского казака.

Тот плутовато ухмыльнулся, подернув выгоревшими бровями.

Наутро пленных расковали, досыта накормили, дали много воды, чтобы они помылись, одели в белые штаны и рубахи. Девка мылась отдельно, пришла причесанная и повеселевшая, приодетая в короткое шелковое платье и штаны.

Под присмотром охранников всех их вывели из сада на знойную улицу. Впереди на осле ехал племянник зарезанного старика. Несколько длинноухих мулов везли его товары. За ними брели пленные, для порядка связанные мягкими веревками. С боков и сзади шли охранники с кривыми саблями.

Впереди показались высокие стены города с распахнутыми настежь воротами. Угрюму все происходившее казалось сном: и богатый разноязыкий город, и невольничий базар. Кто-то его осматривал и щупал. Перед глазами появился русобородый голубоглазый мужик в бухарском халате, с головой, обвязанной шелковым лоскутом. Он что-то спросил. Угрюм не услышал. И только когда голубоглазый ткнул его в бок, внимательно взглянул в широкое лицо с конопушками на переносице.

– Ты глухой? – крикнул тот, улыбаясь.

До Угрюма не сразу дошло, что спрашивают по-русски. Мужик срамословно и весело ругнулся, затем хохотнул:

– «Живый в помощи» читаешь?

– Богородичные! – признался Угрюм и удивленно спросил: – Ты с Руси?

– Даже из Сибири! – зачем-то крикнул дородный и стал обтирать платком потное лицо. – Как видишь, здесь тоже жить можно, – положил руку на слегка выпяченный живот. Сунул ладонь за кушак, который его поддерживал. Там висел кошель, по виду тяжелый.

Обливаясь потом, мужик кряхтел и почесывал рыжую шерсть на груди в том месте, где у всякого русского висел крест. Узнав своего, Угрюм оторопел и едва не залился слезами от радости. Но, взглядевшись пристальней в его лицо, увидел в нем что-то явно нерусское, чужое, и разочарованно отвел глаза.

– Ты чья? Откуда взяли? – спросил мужик девку на чистом русском языке, да еще с новгородской и сибирской певучестью.

Она охнула, заголосила, запричитала, рассказывая, как была пленена, как погибли отец и братья.

– Вот те раз! – вскрикнул мужик. – Тарская? Землячка! Ну, не реви! – Обтер потное лицо влажным, смятым платком и перевел взгляд на Угрюма. – А ты откуда?

– Енисейский промышленный! – быстро заговорил он, счастливый уже тем, что слышит родную речь на проклятой чужбине. – Брат – казак! А я всякому делу обучен. Кузнечное дело знаю.

– Кузнец мне нужен! – обнадежил мужик. Обернулся к племяннику зарезанного бухарца, который ел его глазами и угодливо улыбался. Затем степенно перешел к казакам, громко заговорил с ними, даже пошутил о чем-то. Потом одышливо пожаловался:

– Всех взять не могу. Денег не хватит. А кузнец мне нужен!

Затрепыхало сердце в груди Угрюма. Он осаживал себя, слышал от бывальцев, что русские выкресты бывают злобней и жестче инородцев, а все же хотел попасть в дом к единокровнику.

Крякнув еще раз, потный мужик выпятил живот и бойко залопотал по-здешнему. Глаза купца округлились и полезли на лоб. По лицу его Угрюм понял, что бывший русский хаёт товар, то есть его, Угрюма. Бухарец взвыл. Подскочил к нему, содрал с плеч рубаху, стал показывать жилы. Голубоглазый насмешливо и презрительно отвечал ему, похохатывая. Вокруг собирались зеваки, галдели, увлекаясь спором.

Разъяренный купец сорвал рубаху с заголосившей девки. Та прикрыла ладонями грудь. Он яростно отодрал ее руку, показывая всем тугую, упругую, с розовым соском, выпуклость, щупал ее, как яблоко, подкидывал на ладони, шлепал по животу.

Русобородый со спокойной насмешкой отвечал, оборачиваясь за поддержкой к хохочущей толпе. И она сочувственно поддакивала. Палило солнце. Плыла перед глазами заплеванная земля. Визгливо орали ослы. Сколько длилось все это, Угрюм забыл. Помнил только, что доведенный до бешенства купец под хохот толпы сорвал с бритой головы чалму и стал топтать ее. Тот и другой ударили по рукам. Русскоязычный отсчитал звонкие монеты и повел за собой девку с Угрюмом.

– Держи! – подал корзину.

Угрюм торопливо подхватил ее. Хозяин, не оглядываясь на рабов, пошел по торговым рядам, покупая зелень, сыр, другую снедь, и все это бросал в корзину. Наконец они вышли за городские ворота, зашагали по знакомой, как казалось, улочке, но против солнца. Однако то ли время было к вечеру, то ли улица была другой, но точь-в-точь как та, где пленники приятно провалялись два дня и две ночи. А калитка была такой же. Мужик, за ним Угрюм с тяжелой корзиной, следом девка снова вступили в тенистый рай за глинобитной стеной.

Это был сад. Чуть слышно журчала вода в арыке. Веяло благодатной прохладой. На крыльце дома с плоской крышей появилась молодая женщина в долгополой рубахе, приветливо крикнула по-русски:

– А мы уж заждались!..

Другая, постарше, с проседью в черных волосах и с темным пушком на верхней губе, степенно вышла из-за деревьев. Она была просто и удобно одета в обвисящий шелк и держалась с важностью хозяйки.

– Ой! – прикрыла лицо воротом рубахи. – Кого ты привел?

– Уф! Ну и жара! – сел под яблоней хозяин, стал неловко разматывать кушак. – Садись! – приказал Угрюму, покорно стоявшему с тяжелой корзиной на плече. – Купил наших, сибирских пленных, – прокряхтел, задирая руки, помогая женщинам стянуть с себя халат. – Он – кузнец, а ее приставим куда-нибудь.

Хозяин был глуховат. Даже здесь, в тишине сада, он говорил очень громко. И если Угрюм отвечал тихо – переспрашивал. Женщины подхватили корзину, унесли в дом. Затем они увели

за собой смущенно озирающуюся девку. Угрюм остался наедине с полуобнаженным хозяином. Оба несколько мгновений наслаждались тишиной и тенью.

– В эдакую жару да баньку бы. По-нашенски! А? – по-свойски подмигнул тот. – Затопим, но позже. Пока помойся в арыке да подкрепимся!

Чудным показался Угрюму дом, в который он попал милостью Божьей. В чужом краю, за высоким забором, хозяин построил маленькую Русь. Правда, не совсем русскую: чужое, непривычное, но ласковое и удобное, выпирало из всех углов, напоминая, где все это находится.

На другой уже день он знал, что чеканщик Абдула, купивший его, родился в Таре и при крещении получил имя святого Иоанна. По сиротству он был отдан в ученики посадскому кузнецу. Еще в юности его пленили калмыки на соляных озерах возле Иртыша и продали бухарцам. Здесь его купил чеканщик, тоже выкrest, не имевший сыновей. Тарский посадский принял обрезание в магометанство, женился на его дочери, унаследовал дом и дело своего хозяина.

Сытно позавтракав, с самого утра Абдула принялся за работу. Загрохотал металл по металлу. Угрюм изо всех сил старался быть полезным, помогал ему и быстро схватывал тонкости мастерства. К полудню мужчинам накрыли стол под деревом. В ушах звенела медь. И громкий голос хозяина больше не удивлял пленника. Прислуживала им купленная тарская девка.

Одета она была, как другие женщины в доме. Лицо с пугливыми глазами расправилось и посвежело. Она намеренно не смотрела на спутника по несчастьям и делала вид, что знать его не знает. Не пытаясь заговаривать с ней и напоминать о прошлом, Угрюм раз и другой перехватил ее мимолетный злобный взгляд.

Женщины, жены Абдулы, были с ним ласковы и приветливы. За стол с мужчинами они не садились, но вели себя вольно. Много расспрашивали о жизни промышленных людей и о Енисейском остроге. И только девка-пленница все сторонилась и воротила нос. Вскоре Угрюм понял, что в ее лице нажил здесь заклятого врага.

А жизнь в доме Абдулы была еще слаще, чем среди балаганцев. Где-то там, за глиняной стеной, жил своей жизнью враждебный город. А здесь дурманно пахло яблоками. Падали они с деревьев и уже не напоминали Угрюму удары чекана по головам. Работали они с хозяином с утра до вечера. Но до изнурения себя не доводили. Сколько хотелось, столько отдыхали. Сидели в тень. Абдула говорил, а Угрюм внимательно слушал, изредка отвечая на его вопросы.

– От своего Бога отречься, другому поклониться – великий грех! – рассуждал хозяин, поглядывая в синее небо над верхушками деревьев. – На Руси за переход в магометанство – смертная казнь. Наверное, это справедливо.

Но здесь какой закон? Ты вот раб, никто, а примешь магометанство, – Абдула опасливо покосился на крест под рубахой Угрюма, – и я должен отпустить тебя как равного всем здешним жителям. А у вас каково? Рабом может быть только единоверец. Других не тронь! Упаси бог. Всякий другой – вольный! Разве это по Писанию? – Абдула начинал злиться и говорил так громко, что переходил на крик.

– Читайте тайно Старый Завет и Новый, – снова зашептал, пристально всматриваясь в глаза Угрюма, и обретенное на чужбине, нерусское, резче выпирало в его лице. – Не было такого повеления от Господа, чтобы только своих холопить. – Абдула поперхнулся, рука его дрогнула и замерла в привычном желании перекреститься. – Цари да бояре придумали. Сами выродились в латинянскую нерусь и всем нерусским потакают.

Угрюм кивал, пожимал плечами, вздыхал и втайне чувствовал, что Абдула завидует ему, нищему сироте и рабу, не снявшему креста. И оправдывался он не столько перед Господом, сколько перед ним, грешным. Всеми силами Угрюм старался не выдать этого своего понимания превосходства. Оттого угождал и льстил без меры, живо поддакивал, рассказывал о своем сиротстве.

С женами Абдулы у него быстро сложились хорошие отношения. Все они души не чаяли в купленном кузнеце. И только тарская девка продолжала злобно молчать и обходила его стороной.

Кончилось знойное лето. Настала осень с прохладными вечерами, напоминавшими Сибирь. Опали листья в саду, укрывая землю желтым ковром. За ворота Угрюм выходил редко и неохотно, когда хозяин брал его на базар. Он знать не хотел ни города, ни его крикливых жителей. Как рыба с иссохшими жабрами, добравшаяся до воды, барахтается в ней ни жива ни мертва, так он возвращался за глинобитный забор, где, кроме тарской девки, врагов не имел. Лежал на листьях. Смотрел в небо. Думал с тоской, что ничего лучшего не было в его прошлой жизни. Милостив Бог!

Он старался быть хорошим чеканщиком и трудился не зря. Все чаще хозяин внимательно рассматривал украшенные им поделки и был доволен работой. Прежнее знание кузнечного ремесла теперь казалось Угрюму жалким ученичеством. Но оно спасло ему жизнь, привело в этот дом. И потому он жадно учился всем тонкостям мастерства. А его усердие восхищало хозяина.

Дом в саду был просторным, со многими комнатами. Женщины жили на другой половине. Отдельно от всех, окруженный заботой, доживал свой век немощный старик, тесть нынешнего хозяина. Дочь часто выводила его в сад. По старости и хворям говорить он не мог, но приветливо улыбался Угрюму беззубым ртом, знал о нем со слов домашних и показывал свою приязнь.

Вскоре Угрюм стал догадываться, какую судьбу готовит ему Абдула. Открылся перед рабом его дом не только с достатком, с миром живущих, но и с бедами.

В любви и приязни Иван-Абдула прожил с дочерью прежнего хозяина, нынешней старшей женой, десять лет. Детей у них не появилось. Жена настояла, чтобы он взял другую, молодую, жену. Сама нашла и выбрала мужу в жены пленную русскую девку, с которой по сей день жила в добрых родственных отношениях. Та прожила в доме пять лет, а детей все не было.

Как-то за обычными между мужчинами разговорами о Боге и Его Заветах Абдула признался, что Угрюм ему нравится, что он хотел бы женить его на тарской девке и сделать наследником, чтобы поддержать свою старость, как он содержит бывшего хозяина.

Ударилась кровь в лицо прищельца, которого никто в доме не принимал за раба. Звериным чутьем голодранца почуял близость ловчей ямы и прельщение дьявола. Он мог забыть, как ненавидящая или смущавшаяся его девка миловалась у него под боком с придурковатым Пятункой Змеевым. Стерпится – слюбится. Он никогда не был особо набожным, но отказаться от Бога, который один только и помогал сироте в несчастьях, боялся. Верно говорят: тот Богу не маливался, кто с жизнью не прощался, а этого злосчастья в жизни Угрюма хватило бы и на троих.

Заметив сильное смятение в его лице, Абдула тягостно вздохнул:

– Если ты не женишься на ней, придется мне взять третью. Жены требуют!

Со страхом, но отказался Угрюм от счастливой и благополучной жизни в саду. И долго икал потом, содрогаясь всем телом. Последствий опасался не зря: в тот же день почувствовал, как переменялись к нему домашние – не унижали, не обижали, но отчужденный холодок появлялся в голосах, когда говорили с холопом.

Он понимал, что нужен только хозяину, и старался в работе лучше прежнего. Сам начал гложуть от шума мастерской и знал, что на этот раз ремесло не спасет: злющая тарская девка рано или поздно оговорит его как свидетеля тайного греха и вынудит Абдулу продать помощника.

Раз в неделю хозяин грузил осла изделиями и уходил один то ли на базар, то ли еще куда. Угрюм запирался в мастерской и стучал непрерывно, пока его не звали есть. Хозяин возвращался. Угрюм настороженно всматривался в его лицо, старался угадать по нему свою

судьбу. Однажды промозглой осенью оно очень не понравилось Угрюму. И он стал ластиться, звать Абдулу на душевный разговор, хотел вызнаться, о чем тот думает.

Вздыхнул хозяин и открылся.

– Хорошо живу! Грех жаловаться! Но в эту самую пору нападает на меня тоска горячая, – свесил кручинную голову. – От Бога отрекся – принял грех неотмолимый. Вдруг и смилостивится? – вскинул голубые глаза. В них метался ужас. – Сколько раз Израилево племя забывало Его милости, поклонялось другим богам. Наказывал, но прощал ведь? Он сирот любит! – Абдула всхлипнул. – Иной раз в эту пору как гляну на здешние кладбища, как подумаю, что здесь лежать до Великого Суда, душа холодеет. Хоть бы в этом саду закопали, что ли?

Вдруг он взглянул на помощника пристально и испытующе.

– А если отпущу на волю, к медведям, к комарам и к мошке? Заживешь где-нибудь в курной избе на краю леса с вечной нуждой о хлебе.

Угрюму молчал. Только пугливо водил глазами, не зная, какого ответа ждет хозяин. И вдруг понял, что тот под хмельком. Случалось, он попивал тайком от правоверных соседей.

– И приду я, старый, к тебе, чтобы покаяться за грехи тяжкие да помереть по-русски?

– Приходи! – выдохнул Угрюму. Глянул испуганно: – Что? Девка оговаривает?

Абдула про девку ничего не сказал. Только опять вздохнул глубоко, сипло. Мотнул бородой, выдавая, как показалось Угрюму, что та девка его уже умучила. Сказал другое:

– Знал я самокреста. Там еще, – качнул головой на полночь. – Он от прежней жизни отрекся. Закопал пустой гроб и крест на могиле по себе поставил. Панихиду заказал. А сам крестился под другим именем. Другую жизнь начал. Узнать бы, как она, другая, удалась. Эх! – Насупись, тряхнул головой, трезвея, заговорил строго, деловито: – Встретил я томского служилого человека Луку Васильева. Послом пришел к нашему эмиру. На морду татарин, говорит с корявинкой, из магометанства выкрестился, хрен обрезанный, крест на брюхо нацепил. И вот ведь! Посол! Сын боярский.

Ты хорошо работал, хоть и не отработал затраченного. Если здешняя жизнь тебе не по нраву – могу отпустить с узкоглазым выкрестом в Сибирь.

– Почему не по нраву? – пугливо сглотнул слюну Угрюму. – Лучше, чем у тебя, я и не жил. Век бы так жить. Ты мой отец и благодетель. Век молиться за тебя буду.

– Молись, раб Божий Егорий, – властно перебил его Абдула и сказал, что вертелось на уме у самого Угрюма: – Пока я жив, и ты в достатке. А вдруг... – вскинул печальные и похмельные глаза. – Плохо тебе будет! – замотал бородой. – Правильно! Иди к своим медведям, сиротства своего ради, и молись за грешного Ивана.

Разговор этот не остался забытым. На другой день утром Абдула ушел налегке и вернулся к полудню. Моросил дождь. На хозяине был промокший халат, а в жилом доме сыро и холодно. Абдула вошел в мастерскую, где горела печь и гремело железо. Остановил работу жестом. Угрюму взглянул на него. Хозяин был трезв, весел и зол. В стелящей тишине еще тонко дозванивала медь. Абдула заговорил даже громче обычного:

– Согласен взять тебя выкрест плоскомордый. Да не знает как. Его люди переписаны. Разве если я дам ему на тебя купчую, будто продал раба? – взглянул на Угрюму пристально.

Тот пожал плечами. Дескать, как знаешь.

– Не верю выкрестам! – чертыхнулся хозяин. – Глазищи у татарина завидуши. Так и зыркает, где чего прихватить. – Он помолчал, прижимаясь к горящему горну, в котором неохотно и дымно тлели вишневые да яблоневые ветки.

– Перепродать тебя в пути он не сможет. А как доставит в Томский да объявит своим рабом, не докажешь, что я тебя дал ему даром. Нет на свете тварей поганей выкрестов! – плюнул в угол со злобным удовольствием. Сел, согрелся, успокоился. Стал подремывать. Встрепенулся. Запахнул халат.

– Думай! – тоскливо взглянул на мокрый сад с черными ветвями деревьев.

– У меня брат в Енисейском остроге. Не оставит, – пролепетал Угрюм заплетающимся языком.

Не было у него на душе радости, что Бог дает надежду на свободу.

Низкорослый кривоногий татарин, поверстанный в сыны боярские по томскому окладу, не понравился Угрюму с первого взгляда. Он бросал слова весело, то и дело беспричинно кивал и ухмылялся, поглядывая по сторонам узкими раскосыми глазами.

С тремя казаками Лука Васильев был послан сюда томским воеводой. Посольские дела закончились. Томские служилые покидали город. Возле ворот богатого дворца казаки укладывали в арбу подарки и харч. Пять почетных охранников из свиты здешнего эмира с важным видом сидели на корточках возле своих привязанных коней.

Абдула придел Угрюма в старый стеганный халат, в мягкие сапоги, дал ему в дорогу мешок лепешек и яблок. Сказал, что обо всем договорился, а при встрече снова стал спорить с выкрестом, перемежая русские слова татарскими и здешними.

– Какие корма? – напирал на него. – Послов эмир кормит. Где десять, там одиннадцатый прокормится.

Томские казаки равнодушно поглядывали на споривших и на Угрюма, с нетерпением ждали выхода из города. Лука Васильев уклончиво настаивал, чтобы прокорм в пути был оплачен наперед.

– Есть родня в Сибири? – плутовато спросил Угрюма.

– Служилый, Иван Похабов! – ответил тот.

– Знаю Ивашку! – закивал выкрест. – По Енисейскому служит.

Угрюм повеселел. То, что почетный посол знал брата, обнадеживало. Абдула сходил с ним к писарю, выправил купчую на Угрюма. На прощание по-русски поликовался со своим бывшим рабом со щеки на щеку и смахнул слезу рукавом халата.

– Молись за меня! – напомнил, покашливая и хлюпающая носом. Сутулясь, повел послушного осла к воротам города.

Снова вздыбились на пути черные неприветливые горы. По бывшим сухим каменным рекам сочилась вода. За горами открылась бескрайняя степь: серая, нежилая. Казаки ехали верхами, посол – в тряской арбе, Угрюм то шел возле арбы, то садился в нее. Всю дорогу он молчал, и казаки его ни о чем не спрашивали. Пленник ни у кого не вызывал любопытства.

Посол был в суконном кафтане, добротном, но простецком малахае и без сабли. В дороге он часто вспоминал, что на ответные подарки казны не хватило, пришлось родне эмира отдать свою соболью шапку и саблю да пояс с серебряными кистями.

Казаки угрюмо слушали его жалобы и похвальбы, своим видом показывали, что вынуждены терпеть болтуна. Иногда перебрасывались словом или знаками с охранниками. Скрипела арба, скрипел мокрый, перемешанный со снегом песок под колесами, храпели кони, на ходу хватая выжженные и сникшие прошлогодние травинки.

Показалось великое озеро. Вдали мутно замерцала вода, такая же серая, как степь. По протокам и ямам берега лежал ноздреватый лед. Под ветром качался высокий сухой камыш. Ближе к нему посольский обоз подходить не стал. Охранники объезжали его стороной, открытыми местами. Но снова, как прошлый раз, из камышей выскочили всадники, галопом кинулись к посольскому каравану.

Охранники эмира пришпорили лошадей и умчались на полет стрелы. Там они, остановившись, стали кричать и угрожать разбойникам, оправдывались перед казаками, что сопровождают посольство только до калмыцких кочевий. Здешняя земля была спорной. Три казака спешили, выставили пики на три стороны от арбы. Татарин держал коней под уздцы.

Разбойники закружили вокруг арбы. Выкрест по-татарски стал грозить гневом эмира. Охранники, заметив нерешительность грабителей, приблизились, стали ругать их громче.

Среди разбойников Угрюм высмотрел знакомого человека. Пригляделся. Черное от солнца лицо, большой рот с оскаленными конскими зубами. Курносый, будто выдранный палачом, нос. Как ни причудливо был одет всадник, узнал-таки в нем Пятунку Змеева. И тот узнал его. Глаза Пятунки неприязненно блеснули. Толстые губы покривились.

– Ба! Ясырь енисейский кетгынит!⁵¹ – оскалил красные звериные десны. О чем-то переговорил с удалцами степной породы. Те положили дубины, луки и сабли поперек седел, подернули поводья и отвели коней в сторону. Там встали, поглядывая на обозных. Пятунка же позвал Угрюма.

– Сиди! – строго приказал татарин. И крикнул по-русски: – Дай нам пройти. Мы – послы томского воеводы, вреда вам не делали!

– Заплати и ступай с Богом! – оскалился Пятунка.

– Что хочешь? – замявшись, спросил посол.

– Этого! – указал на Угрюма разбойник.

Лука Васильев воровато и зло блеснул на пленника черными глазами, объявил:

– Как до стана версты с три останется – отдадим!

Осмелевшие охранники стали приближаться, придерживая коней. Разбойники подняли луки, и они, дав плетей, ускакали на прежнее место, опять начали уговаривать лихих людей.

– Подойди! – приказал Васильев.

Угрюм осторожно шагнул от арбы. Боязливо гадал, зачем понадобился Пятунке. Ругал себя, что не скрыл лица. Разбойник отъехал от товарищей на десяток шагов. Неволей Угрюм подошел к низкорослому, перебиравшему копытами коньку. Пятунка лег животом на гриву, со злым любопытством стал разглядывать идущего.

– Хочешь со мной казаковать? – спросил насмешливо. Вблизи Угрюм увидел, как он переменялся. В восторженных прежде глазах стыли колкие льдинки. На придурочного Пятунка теперь никак не походил и глядел на бывшего пленника как наделенный властью, в чьей воле было казнить и миловать. Про девку, как ждал Угрюм, не вспомнил.

– Мне к брату надо! – промямлил жалостливо.

– Твое счастье! – презрительно ухмыльнулся Пятунка и набросил ему на шею волосяную петлю. – Брат – святое!

Охранники и казаки закричали, размахивая саблями и пиками. Но Пятунка ухом не повел в их сторону. Подтянул Угрюма за петлю к самому лицу. Прошипел, скрежеща конскими зубами, меж которых, как мох, зеленела какая-то плесень:

– Да мне так, без ятров, даже лучше! Божись, что никому не скажешь, что видел! Или удавлю!

– Вот те крест! – испуганно пискнул Угрюм и, вытаращив глаза, размахисто перекрестился. Подрагивавшими пальцами вытасил из-под халата крест, приложился губами.

– Живи и помни! Другой раз встречу – убью! – Пятунка скинул петлю, поддал коньку пятками под бока. Тот с места рванул в галоп. Пригибаясь к гриве, разбойник вернулся к своим дружкам. Полтора десятка всадников стали удаляться к зарослям камыша.

На подрагивавших ногах Угрюм приковывлял к арбе.

– Что ему? – строго спросил Васильев. Колко мерцали его черные зрачки в узких щелках глазниц.

– Спрашивал дорогу до города, – виновато замялся Угрюм.

– Откуда знаешь разбойника? – злей прежнего впился в него недоверчивым взглядом служилый татарин.

– Тоже ясырем был! – обидчиво вскрикнул Угрюм. – В одной яме сидели. Но он бежал, а меня продали.

⁵¹ Кетгынит – от «кет» – «идти» (тюркск.).

Разбойники скрылись так же быстро, как появились. Обоз двинулся своим путем. Посол все оглядывался на бескрайнее озеро и велел завернуть с тропы на ветер вдоль берега. Когда бухарские охранники стали громко возмущаться, указывая правильный путь, Васильев приказал остановиться. Он сам вошел в крайние заросли камыша, присел, будто по нужде, стал высекать искру кремнем, раздувать огниво. Когда над камышом поднялся дымок, с ухмылкой вернулся к обозу.

– Сыро! Не разгорится! – хмуро заметил долгобородый казак.

– Как Бог даст! – мотнул головой Васильев.

Порыв ветра выстелил дым по земле, а пламя с треском взмыло вверх. Довольный собой, посол сел в арбу, весело взглянул на бухарцев.

– Давно бы надо выжечь берег! – пролопотал на их языке. – Мне отмщение и аз воздам!

– На другой год гуще прежнего вырастет! – буркнул долгобородый.

В Томский город посольский обоз прибыл как раз на мучеников Платона и Романа, в первый день подлинной зимы.

– Платон да Роман кажут зиму нам! – кряхтели казаки, пряча лица от ветра. Последние дни пути он был лютым. Лицо Угрюма покрылось черными коростами. Он чуть не околел в дареном халатишке, который продувало насквозь. Для тепла оборачивался жесткой, как доска, промерзшей бычьей шкурой. Тем и спасся.

Благодарственный молебен заказать было не на что. Угрюм простоял в храме на коленях всю литургию. Это все, чем мог отблагодарить Господа за чудесное спасение. За милости на чужбине.

Едва он вышел из притвора, столкнулся с калмыцким ясырем. Тот стоял поперек пути в добром овечьем тулупе, опоясанном кушаком, в новых ичигах. На боку висел тесак. Глядел он на возвращенца нагло и презрительно.

– Айда, воевода ходи! – ткнул в грудь пальцем.

Дать бы в ухо косорылому! Да город чужой, народ злющий, ясырь неизвестно чей. Угрюм попробовал обойти его. Ясырь вцепился в плечо.

– За тобой посылали! Башка зовет!

– Что буянишь? – строго окликнули за спиной.

Похрустывая снегом, к ним шел казак в долгополой епанче поверх жупана. Индевеющая борода его была коротко стрижена. На усах висели сосульки. Глаза смотрели добродушно и приветливо.

– Из плена вышел, – слезно кинулся к нему Угрюм. – Натерпелся от неруси. А тут опять. У своих.

– Ты чей будешь? – остановился казак и окинул оборванца любопытным взглядом.

– Брат у меня в Енисейском! – обиженно вскрикнул Угрюм. – Служилый Иван Похабов.

– Знаю Ивашку, – казак смахнул сосульки с усов. – Поклон ему от Богдашки Терского. – Строго взглянул на ясыря, который с важным видом что-то бормотал и надувал щеки. – Иди! – приказал. – Сам приведу!

В съезжей избе Угрюма ждал письменный голова. Рядом с ним сидел Лука Васильев. Он непринужденно поглядывал по сторонам, не желая замечать обозного.

Голова вперился в оборванца разъяренными глазами. По его взгляду Угрюм понял: чем меньше скажет о себе, тем лучше. Вылетит лишнее слово – другое и третье палач из него выбьет.

– Сказывай, где пленили! – неприязненно рыкнул голова, едва дождавшись, когда вошедший отвесит поклоны на образа.

Богдан, распахнув епанчу, сел на лавку.

– Тебе чего? – строго спросил его письменный.

– Брат товарища, – коротко, безбоязненно ответил казак и кивнул на растерявшегося Угрюма.

Голова молча согласился с присутствием казака и снова перевел взгляд на пришлого, понуждая его к ответу.

– Ходил с ватагой на промыслы по Тасеевой реке. Захворал там и оставлен был у ясачных тунгусов. Напали на них киргизы, меня пленили, продали бухарцам. Там купил магометанин из бывших русских. Отработал я ему за себя, отплакался. Даром отпустил меня с нашим посольством.

Голова презрительно рыкнул и спросил злей прежнего:

– Воровского передовщика откуда знаешь?

Угрюм вспомнил угрозы Пятунки, слезно затараторил:

– В одной яме сидел с ним, с пленным. А откуда он – знать не знаю! Узнал меня разбойник. Это я уговорил его русский обоз не грабить, – заюлил, стараясь всем угодить и никого не обидеть. Тайком радовался, что в пути ни с кем не подружился и держал язык за зубами.

Голова догадывался, что он что-то скрывает, злился, грозил палачом. Богдан с лавки препирался с ним, защищая брата товарища.

– Найдешь кто залог за тебя внесет – ступай в Енисейский! Скоро казаков туда пошлем. Не найдешь – у Васильева дворовым холопом будешь служить.

Угрюм чуть не задохнулся от обиды. Вскрикнул, указывая на сына боярского:

– Он же крест целовал! Абдула ему даром дал купчую на меня.

Голова перевел строгий взгляд на Васильева. Тот заерзал на лавке.

– Не помню! – сказал с напрягшимся лицом. Ухмыльнулся, хмыкнул, задрал нос.

Богдан поднялся, гаркнул письменному голове:

– Отпусти промышленного! Найду деньги косорылому выкресту! Братья Бунаковы Ивану Похабову не откажут.

– Ты язык-то придержи! – сдержанно поправил его голова. – Он сын боярский и почетный посол нашего воеводы – князя Ивана Шеховского.

Угрюма отпустили. Он вышел из съезжей избы с горькой обидой под сердцем: из одного плена бес привел в другой. Мрачным и убогим показался ему Томский город.

Чуть не до сумерек просидели братья у костра. Остывший конь нетерпеливо мотал головой и перебирал копытами. Угрюм говорил искренне, то и дело увлекаясь воспоминаниями: то жаловался на судьбу, то похвалялся виданным и пережитым. Поглядывал на старшего брата, стараясь понять, что чувствует он, слушая его сказы.

Иван молчал с непроницаемым лицом. Узкопосаженные глаза его были мутны. На рассказы брата то покачивал головой, то хмыкал в бороду. Притом никогда не переспрашивал. Разве когда зашел разговор про Богдашку Терского да про Бунаковых, с которыми Иван когда-то сидел в осаде от тунгусов в Маковском острожке.

Грешным помыслом Угрюм иной раз объяснял себе его молчание завистью. Ведь он – младший, а повидал на своем веку больше, чем иные старики городов и острогов.

– Не сказывай никому! Ты мне божился! – напомнил Ивану, закончив рассказ.

– Да уж не скажу! – глубоко, как конь, вздохнул тот. – И ты помалкивай. А то ведь стыдно!

– Что стыдно? – вскрикнул Угрюм с ошарашенным лицом.

– Стыдно! – отводя мутные глаза, тихо повторил Иван. Брови его досадливо хмурились. – Столько претерпел. Ни во славу Божью, ни за Русь Святую, а так, живота ради, по бесовскому научению.

Угрюм метнул на брата злобный и удивленный взгляд, насупился, замкнулся. Иван понял, что обидел младшего. Стал сопеть, кряхтеть, почесываться, не зная, как замять неловкость. Долго думал, потом начал оправдываться:

– Я смолоду чего только не наслушался от старых казаков. И тогда много было видальцев: всяких пленных, беглых, которые жили в дальних странах, среди чужих народов. Мы, молодые, слушали их, разинув рты. Восхищались. А после заметил я, что все те, которые вернулись от чужих, уже как бы и не свои. Слушать-то их слушали, а сторонились, как порченных, будто они какую грязь или заразу принесли из своих скитаний. – Иван снова шумно и глубоко вздохнул: – Забыть бы тебе все, про что говорил. Молиться да служить. Глядишь, выправил бы судьбу! – жалостливо взглянул на брата прояснившимися глазами.

– Будто ты не средь чужих народов служишь? – огрызнулся Угрюм и скривил губы в шелковистой бороде. – Лет уж десять, больше.

– Это другое! – болезненно сморщился Иван. – Мы пришли по воле Божьей, чтобы дать закон здешним народам. Иные нас сами заывают.

– Слышал! – опять скривил губы Угрюм. – Жена князца Немеса приехала в Томский шертовать царю за мужа и за весь род. Тамошние воеводы как увидели на ней соболью шубу, так стали сдирать с плеч силой. А князец недавно только воевать перестал. Утешился от обиды или помер.

Иван бессильно опустил голову, долго глядел на тлевшие угли костра. Наконец вскинул глаза на брата:

– Тебе бы не погнушаться, со скитником Тимофеем поговорить или с попом Кузьмой... Потомки Израилевы, которых Бог вел на Обетованную землю, не меньше нашего грешили. За то их Господь казнил сотнями и тысячами. Но были и верные Его Заветам. Они перешли Иордан и расселились.

– Да я с год жил с теми самыми монахами, что и ты, – нетерпеливо перебил брата Угрюм. – Слушал, что и ты слушал: про скрижали, Моисея, про Иисуса Навина, Самсона и Соломона.

– Поехали, что ли! – поднялся Иван и стал забрасывать шипящие угли костра жестким весенним снегом. Пробормотал, вкладывая клацающие удила в конские зубы: – Иная лошадь двадцать лет книги возит, а читать все не выучится.

Глава 4

На святого мученика Федула и по Сибири теплом задуло. В середине апреля стоял снег вокруг острога и бесстыдно обнажились грязи. Костями мертвечины из земли торчали вмерзшие остовы брошенных судов, разбитые барки и струги. В тенистых местах и буераках стыдливо вжимались в отогревающую землю черные заструги сугробов. Из окон маковских изб вывалились льдины.

Пока не вскрылись реки и не оттаяли болота, острожные люди ходили на лыжах по притокам Оби и Енисея, спешили собрать ясак с кетских родов, караулили промысловые вагаги, пробиравшиеся мимо острогов без государственной пошлины.

Все радости изнурительной острожной жизни виделись Угрюму только в том, что тихим вечером, на закате дня, уставшие от работ люди сидели под стеной и глядели на болота с чахлыми деревцами, на зеленые гривы с кряжистыми кедрками и лиственницами.

Баба пойдет с ведрами на ручей – развлечение. Все отдыхающие казаки поглядят на нее. Седой приказчик проводит женщину тоскливым взглядом, незлобиво ругнется:

– Оптыть... Твоя-то Похабиха, – кивнет Ивану, – под коромыслом-то... Задом-то вертеть горазда. Туды-сюды, туды-сюды. Гусыня! И ни капли не прольет. Мать ее...

И казалось Угрюму, что он слышал эти слова уже не раз и не два. Приглушенно и устало хохотнули братья Сорокины. Усмехнулся Иван. Завистливо закрутил головой Васька Колесников, зыркнул по сторонам хищными куньими глазами. Глядь, широким и степенным мужицким шагом идет с березовыми ведрами его Капа. Тот же приказчик, позевывая, посмеялся:

– Кобыла! И как ты с ей, Васька, управляешься-то?

– А так! – строптиво вскинулся стрелец. Громко окликнул жену: – Подь сюда, холера долговязая!

Капа простодушно и улыбочиво подошла к отдохавшим мужчинам.

– Пой, стерва! – приказал Васька, для острастки вращая бешеными глазами.

Капа послушно поклонилась, поставив ведра на землю, сцепила пальцы на животе, подняла к небу большие невинные глаза, заревела коровой, да так жалостливо, так покорно, что всем стало стыдно. И Ваське тоже.

– Ну, ладно! – смутившись, грубовато приласкал бабу. – Это я на спор! Показать людям – какая ты у меня хорошая жена.

Угрюму придвинулся к брату, усмехнулся, шепнул скороговоркой:

– А ведь в той Руси, которую Абдула устроил на чужбине, народ-то подобрей!

И таким тошным показалось ему все вокруг, что захотелось завывать. Иван снисходительно взглянул на младшего. Вдохнул и пробормотал:

– Зато своя!

Ныла кручинная тоска под сердцем старшего Похабова, терпел обиды от меньшого брата, как велел Господь. Выговаривать же по Его заповеди опасался. А в Угрюма к весне будто бес вселился: во всем перечил, старался опередить старшего. Пойдут в тайгу – он убежит вперед. Станут лес валить – машет топором без усталости и без надобности, пока не повалит деревьев больше, чем старший. Сошел лед. Поплыли они по Кети на малом струге. Плечо к плечу сидели в лодке за веслами. Хрипел, сопел, надрылся Угрюму, налегая на свое весло так, что стругок крутился на месте. Иван скрипнул зубами и резко осадил его:

– Господь сказал: «Терпи от брата своего, сколько можешь, но выговори ему». И если скажет: «Прости, погрешил я перед тобой!», то прости снова.

Поднял на Угрюма разъяренные глаза. Не мог не понимать младший брат, что распяляет себя по научению бесовскому. Но он молчал. Лицо, будто из камня высечено, чуть дрогнуло: опустил глаза, скривил губы в поганенькой усмешке, отвернулся, отмолчался и на этот раз.

– Гребни один! – жестким голосом приказал Иван и пересел на корму.

Брат спокойно и размеренно стал налегать на весла. Течение было слабым. Лодка ровно пошла вдоль берега.

– Ладно, Васька Колесник изводит себя черной завистью, – хрипло укорил молчавшего брата Иван. – При его-то уме, при его медовом языке ни ростом, ни силой не вышел, ни грамоты не выучил. Ты-то что хочешь мне доказать?

Откидываясь на спину, Угрюм яростней налег на весла. Холодно шурился, глядел на берег, не издавал ни звука. Неслась лодка против течения, будто в ней слаженно гребли в четыре руки. Разглядывал Иван знакомую переносицу брата, упрямо сжатые губы, все еще редкую, коротенькую, ровно подрезанную бороду. Люди говорили, что они похожи. Но Ивану греховно чудилось, будто от того жалкого отрока-сироты, каким он когда-то отыскал Угрюма в Серпухове, не осталось ничего. Чужак!

На Первый Спас, к осени, тобольский торговый человек Семейка Шелковников привел по Кети барки с рожью для вольной продажи. В Маковском острожке он был частым гостем. На этот раз с его караваном прибыл из Москвы служилый в красной шапке сына боярского, в стрелецком малиновом кафтане. Он был коренаст и осанист, спиной прям, как доска, будто вытягивался, чтобы казаться выше других. Щеки брил, как литвин. И были они у сына боярского синими от густой, жесткой щетины. Усы же топорщились под носом, как кабаньих загривок. Круглые светлые глаза с белыми как снег белками оглядывали острожных жителей с насмешливым любопытством.

И по одежде, и по осанке сын боярский выглядел стрельцом настоящим, родовым, а не здешним, верстанным из казачьих детей, гулящих людей и всякого сибирского сброда.

– Петр Иванов Бекетов! – назвался приказному.

Зная о забубенном сибирском безбабье, он вез с Руси такую же крепенькую, как сам, жену с простецким лицом. Наслушавшись в пути всяких сибирских вольностей, она глядела на служилых строго и хмуро. Рыжие брови ее были насуплены.

– Устраивай на ночлег разрядного сотника! – объявился приказному стрелец.

Старик весело ахнул, засуетился, посмеиваясь, стал потирать руки.

– А как же Максимка-то Перфильев? Его стрельцы сотником кликнули вместо утопшего Поздея Фирсова!

– Его кликнули, меня послали! – просто ответил Бекетов и добродушно взглянул на рослого Ивана.

Семейка Шелковников, дородный увалень, узнал Угрюма и от радости взревел, как медведь, стал шумно обнимать дружка, закричал работным людям, что встретил товарища, с которым промышлял в юности. Угрюм в его объятиях покряхтывал и терпеливо растягивал губы в принужденной улыбке.

Старчески сутуля опавшие плечи, приказный толочся среди прибывших, срывающимся голосом указывал, в какие амбары носить мешки с рожью купцов, куда – хлебный и другие оклады стрельца. Братья Сорокины и Васька Колесников стояли в стороне с таким видом, будто они здесь и есть подлинные хозяева. Ждали, когда их попросят о помощи.

Бекетов ни просить, ни приказывать не стал. Скинул кафтан, оставшись в холщовой рубашке, вышитой на московский манер. Поставил стоймя пятипудовый мешок, примериваясь взвалить его на плечи, кивнул Ивану:

– Пособи!

Иван бросил мешок на кражистую спину усатого стрельца. Подхватил другой из его струга. Насупленные брови Бекетихи слегка распрямились, а глаза затеплились.

Для всех прибывших в остроге и на гостином дворе топили бани. Женщины пекли свежий хлеб. Не приветить сына боярского, присланного в пику енисейскому воеводе Хрипунову, приказный не мог и с радостью отдал ему с женой свою холостяцкую острожную избу.

Не успели гости напариться и отдохнуть, как на взмыленном коне прискакал рыжий енисейский казак Агапа Скурихин. Он привязал лошадь, усталым и бесшабашным взглядом окинул людей, набившихся в избу приказного, весело взглянул на нового сотника и позвал Ивана для разговора. Следом за казаком вышел приказной.

– Кто такой? – спросил Агапа, кивая за спину, едва они прикрыли дверь.

Дед Матвейка, посмеиваясь и потирая руки, назвал прибывшего. Скурихин ухмыльнулся, задумался. В Енисейском остроге правил службу сотника выбранный стрельцами и одобренный воеводой Максим Перфильев. Неунывающий казак удивленно мотнул головой и беспечно, как о пустячном, объявил:

– Бунт в Енисейском! Томские наш гарнизон взбаламутили. Казаки со стрельцами круги заводят, а воевода с сотником Перфильевым заперлись в остроге.

– Потакал Хрипунов торговым людям! – злорадно выругал воеводу приказный, перебив Агапку.

– Помощи просят! – закончил тот и перевел на Ивана насмешливые глаза с вьезшейся в них паутинкой усталости.

– Пойду! – решительно уставился на приказного Похабов. – Не оставлю кума в беде! Он сына моего крестил, свадьбу нам играл.

– Одного только могу отпустить! – скаречно проворчал приказный. – Все при деле. Сам видел. Да и людишки у меня самые ненадежные. Сорокины узнают – самовольно сбегут к атаману Ваське. – С желчной усмешкой в бороде он распахнул низкую дверь в избу, поманил к себе Бекетова. Тот вышел босой, в одной рубахе, румяный и влажный после бани. – Принимай свое войско, сотник. Ой, в недоброе время принесла тебя нелегкая!

– Я не выбирал ни судьбы, ни времени! – отговорился тот, выслушав торопливый пересказ Агапки. Спросил: – Когда надо ехать?

– Сейчас, если дед Матвейка коней даст, – указал Скурихин на приказного. – А не даст, – плутовато блеснул глазами, – может и пожалеть потом!

– Отчего не дать, если кони есть! – подавив вздох, обернулся к оконцу приказный. Зевнул, крестя рот. Покачивая седой головой, смешливо пробормотал: – Ну и Васька! Ну и удалец!

Стрелец быстро оделся. Опоясался кушаком. Накинул ремень сабли через плечо. Иван собирался дольше. Меченка кричала ему под руку и вслед что-то злое. Он на нее не глядел. Пристально посмотрел на Угрюма, но не позвал за собой. Даже говорить не стал куда едет. А тот, помня усилившийся между ними холодок, не спросил. Иван затянул подпругу, вскочил в седло, поддал коню пятками под брюхо, стал догонять Бекетова со Скурихиным.

В пути он узнал от Агапы, что стрельцов при Енисейском остроге только пятеро, остальные все на дальних службах. Терентий Савин ходил на Тасееву реку с атаманом Васькой Алексеевым и теперь за него глотку дерет. А Вихорка Савин в остроге, верный воеводе. Там же стрельцы Дунайка с Дружинкой да с сотником Максимом Перфильевым. Остальные все переметнулись к бунтарям, провели воровской казачий круг, лают воеводу, будто он в сговоре с торговыми людьми и те рожь продают втридорога. А главные смутьяны – братья Алексеевы, атаман и брат его Гришка.

– Этим-то чего надо от воеводы? – удивился Иван, подводя конька стремя в стремя с казаком.

– Хрипунов посылал их вверх по Енисею на киргизов, а они ушли по Тасеевой реке, ограбили ясачных тунгусов, пленили сорок тунгусских, киргизских и братских мужиков, которых мы звали идти в Енисейский острог бесстрашно. Среди них наши верные ясачники с Подкаменной Тунгуски. Воевода отобрал у них ясырей, заперся с верными людьми. Васькины казаки да наши, человек сорок, провели круг и осадили острог.

– Да! – крикнул Иван. – С Васькой да с Гришкой лучше не воевать. Дай им под начало сотню вольных казаков – Томский город разнесут. А в Енисейском острожины промеж башен всего-то в полторы сажени.

– Боишься Ваську? – весело подначил енисейский казак.

– Опасаюсь! – холодно ответил Иван. – Бояться надо Господа! – перекрестился, сидя в седле. Вызнав, как осажден Енисейский, посоветовал спутникам: – На подъезде с заречной стороны пускайте коней галопом. Где угловая изба, на седла встаньте, через заплот прыгайте. А я поеду к атаману, попробую уговорить.

Скурихин метнул на спутника колючий взгляд, но не стал возражать. Молчавший при их разговоре Бекетов вдруг заявил начальственным голосом:

– Я тоже поеду к атаману. У него мои стрельцы. Что же я буду бегать от своих? Поговорить надо. Познакомиться.

– Ой, смотри, сотник! – потрянул головой Иван. – Стрельцы-то при Ваське неробкие. Побьют, не поглядят, что разрядный сотник и сын боярский!

– То я не битый! – беспечно расправил густые усы Бекетов. – Чай не из новоприборных: и отец, и дед стрельцами служили.

Казак атамана Василия осадили острог по всем правилам боевого искусства. На подходах к нему сидели вооруженные люди. Посадские избы были заняты служилыми. Возле пристани у костров лежали и сидели примкнувшие к ним промышленные. Неподалеку от проездовой башни стоял караул. Торговые люди, чей товар не был внесен в острог, боясь грабежа, уплыли ниже устья Кеми к Касу и там затаборились, ожидая, чем закончится казачий бунт.

Иван направил было коня к оврагу Мельничной речки. Агапа резко потянул на себя узду. Его лошадка встала и задрала морду, оскалив желтые зубы.

– К скитницам не пойду! – заявил казак. – Засмеют потом, что под подолом у черноризниц прятались.

– Ну, тогда лезь через стену где знаешь! – ругнулся Иван и обернулся к стрельцу: – Может, и ты с ним, в острог?

Но Бекетов твердо отказался явиться на службу по-воровски, тайком. Все трое повернули коней к посаду. Из крайней избы они были замечены. Двое казаков встали на пути, высматривая верховых против заходящего солнца. Едва всадники приблизились к угловой избе, Агапий оторвался от Ивана и Петра, пришпорил коня, подскочил к острожному тыну, где не было рва. Вскочил ногами на седло, распрямылся и перемахнул на другую сторону.

Казак закричали. Кто-то пустил стрелу в стену, боясь поранить казенного коня. Иван с Петром продолжали приближаться к посадской избе с охраной.

– Атаман где? – крикнул Похабов, не спешиваясь.

Какой-то голодранец из томского отряда с кистенем в руке схватил за уздечку его коня. Он ткнул его в лоб подметкой ичига. Голодранец сел в пыль. Лязгнул кистень.

– Атаман где? – грозно повторил Похабов, нависая над томским казаком.

Тот узнал его. Испугался. Махнул рукой, указывая к реке, на другой конец посада. Двое стремя в стремя зарысили туда. Спешились возле избы казака Филиппа Михалева. С крыльца к ним сошли трое незнакомых казаков с луками, при саблях. Иван молча бросил им на руки поводья. За спиной в красной шапке вровень с его ухом кряжистый, крепкий и прямой, как колода, надежно шел Бекетов. Они толкнули низкую дверь, склонясь, протиснулись в избу. Выпрямившись, отыскивая глазами красный угол.

– А-а! Поротый царской милостью! – подал голос Григорий.

Глаза вошедших присмотрелись к сумраку избы. Гришка лежал на лавке. Василий в шапке сидел за столом. По правую руку от него хищно щерился на Ивана Михейка Стадухин. Не оборачиваясь, боком к нему смущенно ерзали на лавке Терентий Савин и Василий Черемнинов. Оба воротили морды, будто не были знакомы. Усталая, болезненно иссохшая жена

Филиппа приветливо кивнула вошедшим. Сам хозяин то поднимал голову с красными глазами, то ронял ее на столешницу. За столом было еще трое томских казаков. Все они пили горячее вино и были изрядно пьяны. Атаман неверной рукой налил в две чарки, кивнул гостям.

– Закусываем скоромным! А пьем в пост только во славу Божию!

Похабов и Бекетов скинули шапки. Степенно перекрестились на образа. Молча выпили. Сели. В избу ворвался казак с кистенем. Закричал, указывая на пришлых пальцем:

– Этих Ганка Скурихин привел. Сам бросил коня и перескочил через заплот.

Григорий, вода мутными окровавленными глазами, поднял голову. Сел облокотясь.

Повел бородой по столешнице, сметая хлебные крошки.

– Ну, и кого ты нам привел? – спросил, глядя на Ивана.

– Разрядный сотник Петр Иванов Бекетов. Прислан царским указом вместо утопшего Фирсова, – просипел тот перехваченным голосом. Водка была крепка, не сравнить с кабацкой. – Вам с атаманом да нам со стрельцами он теперь голова!

– Голова, говоришь! – вперился в сотника неприязненным взглядом Васька-атаман. – Ну, тогда слушай и разумей, где правда!

Григорий поперхнулся чаркой. Отставил ее в сторону. Поднял мутные глаза на Бекетова.

– Стрельцы, казаки, сыны боярские, дворяне. Тьфу! Холопье. Дворня боярская. Там были казаки! – ткнул пальцем за плечо, на закат. – Ивашка знает! А здесь. Тьфу!

– Слушай! – продолжил атаман, не обращая внимания на пьяного брата. – Слезно призвал нас здешний воевода защитить острог от тунгусов и качинских татар. Слышал-де он, ясачный князец Тасейка с качинцами вошел в стовор. Пришли мы. Послал он нас на Качу. Едва дошли до стрелки⁵² на устье Тунгуски. Напали на нас, да не качинские, а здешние тунгусы. И шли мы за ними с боями левым берегом. А берег крут. Бечевника нет. Ни дня без боя до самой Бири и Чуны.

– А там... – сипло прохрипел Григорий. – Тасейку братья убили!

– А там целое войско. Мы и в засеке не могли отбиться. Против каждого казака десяток диких. Луки у них наши брони пробивают, дальше пищалей стреляют. А река там в два полета стрелы. И вынудили они нас выплыть на середину. Четверых убили, половину переранили. Сплыли мы обратно плотами и стругами. Все, что кровью добыли, воевода отобрал. Не туда, дескать, ходили. Не тех воевали! Это по правде?

Филипп поднял голову, глубоко вздохнул. Взглянул на Ивана, пролепетал заплетающимся языком:

– Два года жалованье не плачено. Купцы весной по полтине за пуд рядились. А Хрипун не велит их грабить.

– Сказывали, кумишься ты с воеводой? – усмехнулся Григорий. – Выручать его приехал? Иван безбоязненно кивнул.

– А казачий круг тебе уже не указ? – ударил кулаком по столу.

– Сам говоришь, – усмехнулся Иван, глядя на Григория. – Не казаки это. Холопье. Какой круг? Сегодня за вас орут, думают под вашим началом торговых людей пограбить да на вас свои вины свалить.

– Говори, да не заговаривайся! – вскочил Михейка Стадухин, опираясь на стол.

– Сядь! – рыкнул на него Григорий. – Не ори на Ивашку, щенок! Нас с ним на одном козле пороли. Иные, с бородами длинней этой, – кивнул на Филиппа, – после первого удара обсирались, орали, как свиньи под ножом. А он, безбородый еще, кряхтел, зубами плаху грыз. Не вашим, верстанным, чета. – Обернулся к Ивану, икнул, ухмыльнулся: – А тебе – вот Бог, – кивнул на темные лики, – вот воля! – мотнул лысеющим лбом на низкую дверь. – Завтра будем

⁵² Стрелка – песчаная коса.

братъ острог на саблю. Подвернешься под пулю – судьба! Под дубину – не суди. Против зачинщика Бог! Не мы начали. Не по правде с нами воевода поступил. Ясырей забрал по жадности.

Бекетов сидел, важно нахохлившись: ни на кого не глядел, только терпеливо слушал перебранку и водил пустой чаркой по столешнице.

– Не ходил бы ты против нас! – мирно предложил ему атаман.

Стрелец вскинул на него светлые глаза. Заговорил громко, положив на стол широкую ладонь с растопыренными пальцами.

– Может быть, и ваша правда, может быть, воеводы! – повел густыми усами. – Чтобы судить, – перекрестился, мельком взглянув на образа, – надо и его выслушать. Москва далеко, – поправился. – Покаждемся государевой правды, попустит Бог, всех перебьют. А что оклады не плачены, так это я могу сказать: придет сентябрь⁵³ – выдаст их воевода. Со мной казна прислана из Москвы.

Василий Черемнинов заерзал на лавке. Он сколько ни пил – ума не терял. Пробормотал что-то сердитое, непонятное. Бросил на сотника опасливый взгляд.

– Пойдешь кума защищать? – в упор спросил Ивана атаман. Сказать Бекетову ему было нечего.

– Пойду! – кивнул Иван, не поднимая глаз. – Иначе никак нельзя!

– Понимаю! – атаман ударил кулаком по столу так, что пустые чарки подскочили. – Иди! А сотник у нас в чулане заночует. Возьмем острог – тогда пусть говорит с воеводой.

Иван встал, взглянул на Бекетова. Тот кивнул, соглашаясь с атаманом. Он же вышел из избы в сумерках летнего вечера. Кони были расседланы. Их напоили и выпустили за поскотину. Седла висели на коновязи. Похабов зашагал вдоль острожной стены к воротам. Его окликнули из-под яра. Там возле костра сидели знакомые промышленные. Двое из них, братья Ермолины, много досаждали ему в старые времена, когда достраивали здешний острог.

– Куда идешь? – взревел Васька Бугор.

– К воеводе! – крикнул он в ответ.

Василий Ермолин был ростом и ширию под стать Ивану. Брат его, Илейка, чуть пониже, но что вширь, что ввысь одинаков. Здоровущий, как медведь, он поднялся на ноги и стал карабкаться на яр. Скромный и тихий, пока трезв, на этот раз Илейка был изрядно пьян, а значит, нахален и драчлив.

Иван мог в несколько прыжков оказаться под воротами. Уже узнали его с башни и гремели закладным брусом. Но стыдно было ему бежать. А на пути, шумно сопя, уже расправлял широченные плечи Илейка Ермолин.

– А десятина заплачена? – ехидно взревел он и загородил путь.

Иван молча звезданул промышленного под глаз, вложив в удар всю накопившуюся злобу дня. Тот раз и другой переступил на заплетавшихся ногах, споткнулся, сел, замотал головой на короткой кабаньей шее. От костра с ревом неся его брат Васька. Неверными руками и ногами елозил по яру, то и дело съезжая с тропы. Иван обошел Илейку, перекрестился на Спаса, протиснулся в приоткрытые ворота. Воротник торопливо заложил их брусом. И тут же они загремели. С другой стороны кулаками и пятками заколотили в них Ермолины.

– В щепки разнесем! – орал матерно. – Похабу на кол посадим!

Иван вошел в острог, откланялся на темнеющий лик Богородицы с внутренней стороны проездной башни, обернулся и увидел настороженно улыбавшегося ему Максима Перфильева.

– Завтра на саблю будут братья! – скрипнул зубами.

– Не устоять! – обреченно вздохнул тот.

⁵³ Придет сентябрь – по христианскому счислению год начинается с сентября.

Максим был в добротном кафтане тонкого сукна, собольей шапке, красных сапогах. Лицом чист и свеж. Борода по щекам, как у юнца, негустая, ровная, заботливо подстрижена. И по виду не ошибешься, что он в остроге второй человек после воеводы.

Товарищи зашли в съезжую избу с тремя столами. В красном углу окованный железом воеводский сундук был заперт всяческим замком. Холостой Максим своего угла в остроге не имел. Между дальних служб он здесь дневал и ночевал, вел все письменные дела подьячего и сотниковские заодно с ними.

– Нового сотника из Москвы прислали! Со мной приехал, да томские его в острог не пустили!

Максим, потупив глаза, рассеянно выслушал товарища. Постучал кресалом, раздул трут, зажег лучину.

– Прислали так прислали! – пробормотал с печальным вздохом. – Вовремя! Так даже и лучше.

– И что решили? Не отдадите ясырей? – раздраженно спросил Иван. – Их же добыча?

– Посылали в одну сторону – ушли в другую, – криво усмехнулся Максим. – Ладно! Всякое бывает. Мы ведь тех самых князцов зазывали к себе в острог с миром идти. Нынче Алтынхан посольство в Москву отправил. Снова будет шертовать царю. Киргизы от него отложились. Если сейчас из-за Васьки мунгальские кыштымы поднимутся против нас, царь со всех головы снимет. С меня и с воеводы – в первую очередь. Вот и думай, что делать, – вскинул на товарища усталые глаза.

Умно говорил Максим, рассудительно. Да только не ответил, почему Васька с Гришкой должны отказываться от своей добычи. Свесил Иван голову, ни спорить было не о чем, ни спрашивать: и на той стороне оказаться – не по совести, и воевать против своих – грех.

– На настоящей войне, однако, легче! – пробормотал, вспоминая свою дурную юность.

На заре под стеной забил барабан. Все, кто остался под началом воеводы, кинулись на сторожевые башни. С развернутыми знаменами казаки собирались в круг. Посередине, упершись руками в бока, фертом стоял атаман Василий Алексеев. Из-за красного кушака торчала атаманская булава.

– Сейчас пойдут! – пугливо поежился Вихорка Савин, перебирая руками ствол ручной пищали.

– Отопри аманатскую⁵⁴ избу! – приказал Ивану Максим.

– А как ясыри нас бить станут? – опасливо спросил он.

Подьячий только безнадежно махнул рукой.

– Хуже будет, если их спалят, запертых!

Вместе они спустились с башни. Максим побежал в воеводские покои. Иван пошел в аманатскую, распахнул дверь. Изба была набита пленными. Люди с безразличными лицами сидели вдоль стен и на полу. В сумраке жилья с двумя оконцами, в которые человеку не пролезть, глаза Ивана различили ясыря, сидевшего возле двери. Одет он был в простую кожаную рубаху с плеча промышленных людей. Мужик был непомерно широкоплечим, как Илейка Ермолин, с большой непокрытой головой. Его черные волосы были стянуты на затылке в толстую косу. Уже по тому, как он сидел, как взглянул на казака, видно было, что ясырь не простой, а княжеского достоинства.

Поглядел на него Иван в другой раз и с удивлением подумал, что где-то видел это лицо. Вгляделся пристальней, не вспомнил.

– Не выходите! – приказал по-тунгуски.

⁵⁴ Аманат – заложник.

Придерживая саблю, побежал к воеводской избе. Максим на крыльце за руку выводил упирившуюся дочь воеводы Настену. Она беззвучно заливалась слезами. Воевода со страдальческим лицом уговаривал ее идти за Перфильевым.

– Уж меня-то начнут искать, весь острог перевернут! – пояснил Ивану. – Наше дело воинское. Лишь бы дите не пострадало.

О сдаче острога он говорил как о деле решенном. Глаза его были растерянные и красные. Добавил, в другой раз взглянув на удивленное лицо Похабова:

– Пусть силой заберут своих ясырей. Нам оправдание перед царем. Постреляйте поверх голов – и ладно. Лишь бы без крови все обошлось.

Полдесятка казаков с башен нестройно пальнули из пищалей. Где-то в угловой избе приглушенно охнула пушка. Едко и тухло запахло жженым порохом. Иван не успел стронуться с места. Почти в тот же миг на низких, полуторасаженных острожинах показались головы томских казаков.

Вихорка Савин бежал к угловой избе и волочил пищаль за ствол. Его злобно смяли нападавшие. Воевода прытко заскочил в свои покои. Поп Кузьма в рясе и скуфье, с рассыпавшимися по плечам волосами широким шагом вышел к проездной башне. Встал, расставив ноги, поднял литой медный крест с распятем.

– Изыйди и одумайся! – взревел зычным голосом.

Его никто не слышал. Васькины казаки уже открывали ворота и рвались к попу с таким видом, будто тот вышел встречать их с честью. Ивану ничего не оставалось, как встать рядом.

Сабли он не вынимал. Томичи горохом посыпались со стены. Густая толпа ринулась в открывшиеся ворота. На бегу казаки размахивали плетьюми и дубинами. Иван вырвал с коновязи жердь, отполированную уздечками и штанами служилых. Только обернулся к попу, глядь, перед ним Михейка Стадухин: глаза горят, в руках дубина.

– Что мир решил, то Бог положил! – яростно вскрикнул стрелец, напирая на попа. – Ты что, батюшка, против Бога?

Кузьма, опешив, отступил было на шаг от рьяного удалыца. Затем рассерженно рыкнул, насупил. Не найдясь, как ответить стрельцу, звезданул Михейку по лбу тяжелым медным крестом.

– Да за ту неделю, что бунтуете и пьянствуете, храм Божий могли бы построить! – взревел, глядя на поверженного.

Стадухин взвыл, матерно выругался. Кинуться на попа не посмел, но с перекошенным лицом бросился на Похабова. В три удара его дубина и жердь с коновязи переломились. Иван сбил с ног тщедушного на вид стрельца, обернулся к воротам, увидел Илейку Ермолина, отметил про себя, что тот успел опохмелиться.

Илейка приближался степенно и грозно, не спуская с Похабова горевших глаз, сжимал и разжимал огромные кулаки. Ничего другого при нем не было. Не успел Иван обернуться к нему всем телом, как брызнули искры из глаз. Потом еще. Свет померк. Кого-то он молотил во тьме, пока не был сбит с ног. Вскочил, пробился к крыльцу воеводской избы. Здесь кто-то вырвал стойку, на Ивана стал падать навес. Он заскочил в сени. Дубьем и саблями его загнали в чулан и заперли там.

Рыкая, как загнанный зверь, он пометался вдоль стен, ощупывая какие-то сундуки и бочки. Обессилевши, сел, привалился к стене спиной. «Лучше кончиться не могло, – подумал, успокаиваясь. – Хорошо, что так!» Досадовал на себя, что разозлился на осаждавших и вошел в раж. Ощутил кровь во рту. Из носа текло, усы и борода были липкими.

Вопли, крики, шум в воеводской избе стихли, перенеслись куда-то вдаль. Иван поднялся, нащупал дверь, толкнул плечом. Заперта. Раз и другой ударил в нее. Не сдвинулась. Послышались шаркающие шаги. Постанывая и охая, воевода отбросил жердины, которыми подперли

чулан. Он был без шапки, с растрепанной бородой, смешавшейся с рассыпавшимися по плечам волосами. Одной рукой держался за поясицу.

Взглянул на Ивана с изумлением, слезливо хохотнул.

– Ну и морда у тебя! – ткнул скрюченным пальцем в бляху шебалташа, указывая на личины. – Была такой, стала такой!

Иван опустил глаза на опояску. Сперва он не увидел ничего, кроме окровавленной груди и бороды. И вдруг вспомнил лицо ясыря, того, что сидел возле двери в аманатской избе. Тут же вспомнились слова кетского шамана про встречу.

– Бл...ны дети! – снова охнул воевода, болезненно выгибаясь. – Меня, родового сибиряка, сына боярского, положили на казенный сундук и пороли плетьюми. Лаяли. Бороду драли. А тебя-то как разукрасили? – опять хохотнул со стоном. – Их счастье, что ни замков, ни казны царской не тронули. Мою бочку вина выкатили. Упьются с двенадцати-то ведер.

Воевода по-стариковски неловко наклонился, подобрал с полу шапку. Опять охнул, схватившись за поясицу.

– Сходил бы, кум, да посмотрел, как там Настена. Отсиделась ли? Постой! – спохватился. – Напугаешь дите разбитой мордой. Пойдем вместе.

Они вышли из воеводской избы с развороченным крыльцом и обрушенной кровлей. Ворота острога были распахнуты. Амбары с казенной рожью стояли запертыми. В аманатской избе никого не было.

– Всех увели! – тоскливо повел растрепанной бородой воевода. – Завтра же в Томский побегут, чтобы оправдаться первыми и меня обвинить.

Максим с Настеной отсиделись в погребке глухой башни. Их не искали. Перфильев смущенно поглядывал на распухшее лицо товарища, на воеводу. Отроковица в слезах бросилась к отцу. Хрипунов перестал постанывать, распрямился. Поглаживая дочь по голове, приговаривал:

– Все, милая! Надо было поспорить немного со служилыми. Пострадали, Христа ради! Особенно кум Иван, – глянул на Похабова и опять не удержался от смешка.

– У меня другой бочонок с вином есть! – пообещал. Поглядел строго на домашних холопов из сибирских народов. Чернявые, узкоглазые, в русских рубахах, они выползали из укрытий и понуро приближались к побитому хозяину. – Что, веселились, глядя, как меня за бороду дерут?

– Нам у тебя хорошо! – коряво промямлил стриженный мужик.

Воевода безнадежно вздохнул, раздраженно махнул рукой и приказал:

– Приберите в доме! Сейчас мы, битые, гулять будем!

Ворота в острог хотели уже притворить, но в них протиснулся бравый стрелец с пышными усами, с круглыми и ясными, как фарфор, белками глаз.

– Новый сотник Бекетов! – указал на него Иван.

– Заходи, сотник! – ворчливо пробурчал воевода. – В добрый час прибыл. Нет бы неделей раньше.

Осаждавшие шумно гуляли за стенами. Осторожных защитников они не беспокоили. Стыдились. Те, что защищали воеводу, собрались в его избе. Стрелец Дунайка Васильев со вспухшей щекой глядел на всех с обидчивой укоризной. Максим с Дружинкой, небитые, были смурны и печальны. У Ивана рот не закрывался. Пить разбитыми губами крепкое вино было неловко и больно. Закусывать он мог только хлебным мякишем. У рыжего Скурихина лицо было чистым, но он хоркал разбитым носом в конопушках, то и дело со смехом прикладывался рукой к своему надкушенному уху, болезненно посмеивался, дескать, в постный день кто-то из нападавших оскоромился.

Пережитое при осаде нисколько не веселило Ивана Похабова. Разговоры за столом казались ему глупыми, как и сама распря с казаками. Он молчал и хмурился. Стояло перед гла-

зами широкоскулое, щекастое лицо ясыря, удивительно похожее на голову с бляхи. Навязчиво вспоминался старый кетский шаман. Грех слушать колдуна и верить ему. Однако все, что произошло с тех пор как тобольские грабители старых могил всучили ему эту злополучную безделушку до нынешней встречи с князцом, все прежние сказы и пророчества складывались в явь, которой трудно не верить. «Не случайно произошла эта встреча! – нашептывал голос то ли из-за правого, то ли из-за левого плеча. – Видать, завязана на судьбе чьим-то промыслом».

Не сильно ошибся воевода: братья Алексеевы со своим отрядом гуляли два дня, на третий стали собираться в Томский город Кетским волоком. Ваське-атаману нужны были казенные подводы. Без Ивана Похабова ему пришлось бы брать их на станках силой. Алексеевы уже думали, как оправдаться перед старшими сибирскими воеводами, и новых грехов к прежним прибавлять не желали. Просить коней у побитого воеводы они постеснялись и прислали в острог своего человека за Иваном.

Похабов отнекиваться не стал. Зла на томских казаков он не держал. Сердиться на сброд, что был под началом братьев Алексеевых, считал делом низким. Он нацепил саблю, нахлобучил шапку, откланялся воеводе, товарищам, пришел к избе Филиппа. Путь ему никто не заступал. На распухшее лицо с узкими щелками глаз поглядывали с виной и состраданием.

– Говорил, не иди против нас! – поднялся навстречу атаман. – Хорошо тебя украсили. Ладно жив!

– Не такое переживали! – прошепелявил Иван, оберегая губы. Григорий был совсем плох: лежал на лавке с серым, как глина, лицом. Он разлепил опухшие веки, открыл глаза, мутно взглянул на казака и болезненно зажмурился.

– Покажи, каких коней запрягать, – приказал атаман. – До Маковского дойдем, там возьмем струги или барку.

Томских окладов казаки с угрюмыми лицами готовились к переходу. Работали они неохотно. На них тоскливо, с укоризной поглядывали казаки и стрельцы енисейских окладов, ввязавшиеся в атаманскую распрю с воеводой.

– Что, Филя? – злорадно прошепелявил Иван, встретившись со старым сургутским казаком. – Не зовут тебя в Томский? Под нашим воеводой оставляют?

Михалев затравленно взглянул на Похабова из-под нависших бровей, неуверенно пробормотал:

– Они нас оправдают перед главными воеводами!

Черемнинов со Стадухиным только кряхтели да воротили носы, стараясь не уронить достоинства. Михейка был не намного краше Ивана: под глазами синева, щека вздута, на лбу коросты. Оба стрельца понимали: не сегодня, так завтра им все равно придется идти на поклон к воеводе Хрипунову. Ждали, когда их позовет новый сотник. А тот намеренно мучил бунтовщиков томительным ожиданием.

– Не я тебе морду разбил! – обозлившись на укору, вскрикнул Михейка. – Ты с попом меня бил.

Впервые после осады острога Иван хохотнул в бороду, вспомнив, как поп Кузьма огрел стрельца по лбу крестом, и лицо Михейки, ошалевшее от неожиданного удара.

– Бог простит! – пробормотал. – Свои люди, сочтемся!

Пошел обоз. Скрипели телеги, груженные оружием, съестным и боевым припасом. Ремнями были стянуты одеяла, котлы, добытое на Тасее добро. Кроме Гришки-есаула, все шли пешими. Те, что послабей, держались за оглобли и возки, переставляли ноги по взбитой болотине.

В середине обоза унылой толпой брели пленные мужики и девки. Тунгусы с длинными волосами, распущенными по плечам и собранными в конские хвосты, шли легко. Отатаренные

аринцы⁵⁵, привыкшие к верховой езде, тяжело переступали с ноги на ногу. Хуже всех доставалось косатому братскому мужику. Прямой, кряжистый, тяжелый, как колода, он едва представлял короткие толстые ноги. Братский молодец, бывший при нем, тоже едва волокся. Иван то и дело бросал на них скрытные взгляды и все мучился какой-то сухотой под сердцем, пока не сказал атаману:

– Продай мне того вон ясыря!

– Это братский князец. Мне томские воеводы награду за него дадут! – последние слова Василий процедил не совсем уверенно. Иван уловил эту заминку.

– Сказывал подьячий Максимка, что Алтын-хан послов в Москву отправил. Опять шертует нашему царю через близких родственников. Браты мунгалам – родня. А как под горячую руку да для своего оправдания перед послами хана бросят тебя воеводы на козла? – зловеще усмехнулся. – Спроси у Гришки, как оно?

– Не пойдет он один, – покладистей заговорил атаман. – Косатый, что рядом, то ли родственник, то ли слуга. Пятнадцать рублей за двоих себе в убыток, по старой дружбе, – взглянул на Ивана. Хохотнул: – Ну и морда у тебя. Сам на братского мужика похож. Кто так постарался?

– Промышленный! Илейка Ермолин! – отмахнулся Иван.

– Хорошо, что не мои!

– Твои добавили по-писаному!

Васька снова хохотнул, показывая, что торг закончен и больше он не уступит ни копейки, ни денежки.

Клейменных соболей, оставленных Пантелеем Пендой, было рублей на пятнадцать, а то и меньше. Мездра желтела, цена убывала. Вот-вот должна была выйти кабала, которую дал на себя Угрюм. Дальше пойдет рост. По уму да по христианской добродетели нельзя было выкупать иноплеменников, когда брат в нужде. А душа ныла, томилась по научению бесовскому. Старый кетский колдунишка стоял перед глазами, будто подстрекал к новому греху. Вспомнился старик-баюн⁵⁶, шедший с обозом в Сибирь из-за Уральских гор. И тот, с крестом на шее, много чего наговорил про золотую пряжку из древнего кургана.

Несколько раз отступался Иван от желания выкупить пленных. Читал про себя молитвы, чтобы не лезла в голову всякая нелепица. Но то и дело невольно оборачивался ко князю.

– Посади ты его на телегу! – потребовал от атамана. – Видишь, еле идет. Не привычен к пешей ходьбе.

Меньше чем за десять рублей продать ясырей атаман Василий не соглашался. Григорий как услышал про предложенные пять, так объявил, что сам ляжет под кнут и примет муки христа ради. Так, в раздумьях и спорах, отряд с ясырями добрался до Маковского острога.

Навстречу прибывшим вышел седобородый приказчик, осмотрел казенные подводы. Про бунт не спрашивал. Велел Угрюму проводить казаков до гостиного двора. Атамана с есаулом позвал ночевать в острог.

Был ясный вечер теплой, сухой осени. Угрюм сидел под частоколом, отмахивал веткой от лица навязчивую мошку. Исполнить наказ приказного он не спешил, равнодушно поглядывая на уставших людей и ясырей. Вдруг вскочил, выпучив глаза на братского князца. Иван отметил про себя чудную перемену в брате.

Из острожка выбежала Меченка, увидела лицо мужа в коростах, всплеснула руками, тихо и обидчиво заголосила. Угрюм окинул брата рассеянным взором и направился к каравану. Осторожно, со стороны приблизился к братским ясырям, тайком перебросился с ними словом. Повел служилых и пленных на гостиный двор.

Вернулся он взъерошенным, его глаза блестели и бегали.

⁵⁵ Аринцы – кетоязычный народ, ассимилированный тюрками к XVIII веку. Предки нынешних хакасов.

⁵⁶ Баюн – рассказчик.

– Я их знаю! – кинулся к Ивану. – Это балаганцы. И Семейка Шелковников их знает. Они нам с Пендой много добра сделали. И мне помогли. Нельзя их бросать.

– Заплати десять рублей! – хмыкнул Иван, отводя глаза. – И отпусти с миром на все четыре стороны.

– Нет у меня денег! – обидчиво вскрикнул Угрюм.

– А долги есть! – напомнил брат и снова отметил про себя: если младшему чего-то надо, то он не такой уж и угрюмый, каким казался с младенчества.

– Ты обещал мою кабалу выкупить! – не отставал он от Ивана, не замечая его разбитого лица. – Заплати за них. Я на промыслы уйду. Отдам долг вместе с ростом.

Для себя Иван уже все решил, а вот родного брата понять не мог, оттого и медлил.

– Сказано, попросит брат взаймы, дай ему без роста, если есть что дать. И еще сказано, – терпеливо и наставительно поучал младшего, – можешь простить – прости долги его. Да только рухлядь не моя, товарища. А он каждый день может вернуться и потребовать ее, – усмехнулся и почувствовал, как лопнула короста на губе. Засолонила кровь на языке. Он прижал ранку тыльной стороной ладони. Но брат и на этот раз не спросил, что с его лицом.

– Раз не пришел к Спасу, то не придет до другого лета! – вскрикнул слезливо и настойчиво.

Иван отвернулся, показывая, что разговор окончен. Дождался, когда Угрюм распряжет и отпустит коней. Сам занес под навес упряжь. Только после этого вошел в свой тесный дом с разбросанной по полу одеждой и посудой. Стол не был накрыт. Меченка бегала возле печки и показывала, что торопится.

Иван вытащил из чулана кожаный мешок со снижкой оставшихся соболей. Осмотрел их. «Может, и лучше отдать, пока моль не посекала?» – подумал.

Поципал подпушек на шкурках, пошел в избу приказчика. Там устраивался на ночлег атаман с братом Григорием. Перед ними да перед приказным Иван выложил на стол полтора десятка лучших клейменных соболей.

– Пиши купчую! – сказал сыну боярскому. – Ты у нас и воевода, и подьячий, и таможенный голова! – польстил старому приказчику.

– Ясыри-то тебе на кой? – удивился тот. – Сапог добрых не имеешь, – выразительно взглянул на стоптанные ичиги Похабова.

– Перепродам! – Иван заговорщически подмигнул атаману. – К зиме промышленные люди вдвое заплатят.

– Ну смотри! – с недоумением разглядывал соболей приказчик и пожимал мосластыми плечами. – Жена то и дело на бедность плачется. Сарафана доброго не имеет к Успенью. Где ясырей держать-то будешь? В остроге – не позволю! Чем кормить?

Была составлена купчая. Приказчик к ней руку приложил, хоть ничего в том торге не понял. Иван и сам не понимал, что делал. Сердился на брата, мстительно помалкивал о выкупе, но слезную просьбу его исполнял не Христа ради и Его Заповедей. Чувал на себе чью-то волю. Злую, добрую ли, не знал, но противиться ей не мог.

Угрюм, освободившись от дел, убежал к гостиному двору. Вернулся он только ночью. В темноте скрипнул дверь. Якунька спал. Иван с женой уже подремывал на полатах. Услышав брата, мостящегося на лавке, Иван принужденно зевнул.

– Завтра заберешь моих ясырей! Выкупил я их по твоей просьбе! – Он помолчал и раздраженно добавил: – Веди куда хочешь, на корма вам окладов не отпущено.

Угрюм поднялся ни свет ни заря и убежал на гостинный двор. Вернулся он к полудню, сказал, что Алексеевы со своими людьми и ясырями уплыли по Кети на казенной барке. Меченка постаралась, в доме было прибрано, обед приготовлен ко времени, на Якуньке была чистая рубаха. Ни к отцу, ни к дядьке ребенок не шел. Хозяин сидел под образами, сын на лавке – по правую руку от него, брат – по левую. Жена, с раскрасневшимся лицом, была приветлива

и весела: она еще не знала, что муж потратил долговые меха. Угрюм рассеянно жевал хлеб и все вскидывал глаза на Ивана, пока тот не спросил:

– Чего еще?

– Проводи на Енисей. Там выберемся куда надо. А то ведь привяжутся казаки или стрельцы.

Старший Похабов помолчал для пушей важности, претерпевая очередную обиду: ни слова благодарности не было сказано братом.

– Торговых не видать на реке? – спросил строго.

– Нет никого!

– Тогда смоли старый стружок о четырех веслах, что возле гостиного брошен.

Угрюм опять бойко убежал, как не бегал со дня прихода в Маковский. На другое утро Иван отпросился у приказного добыть гусей и уток к Успенью и окончанию поста. С топором за кушаком, с луком, колчаном стрел да караваем хлеба в мешке, он пришел к гостиному двору.

Балаганцы и ночевавший там Якунька Сорокин еще спали. Угрюм был на ногах. Наловив рыбы, он пек ее на рожнах. Смоленый стружок стоял на покатах у самой воды.

– Хозяин! – одобрил работу Иван. – Буди ясырей. Пойдем протоками в обход Кеми. – Помолчав, усмехнулся в бороду: – Вот ведь! Скажи промышленным людям, будто Ивашка Похабов воровским тёсом ходит, – не поверят!

Из избы вышли разбуженные ясыри, хмурые и неприветливые. От печеной рыбы отказались. Попили воды из родника, сели в лодку. Якунька Сорокин даже не выглянул, перевернулся на другой бок и снова засопел выдранными ноздрями.

Угрюм услужливо толкнул лодку от берега, сел за весла. Стружок под четырьмя дородными мужчинами просел под самые борта. Переплыли Кеть, вошли в одну из проток, по которой выбирались заплутавшие стрельцы. Прошли под нависшим над водой кустарником. Иван долго молчал, сидя на корме, указывал путь.

Пот выступил на лице брата. Он распахнул кожаную рубаху, но упорно продолжал грести, налегая на весла всем телом. Наконец Иван пожалел его и встал на шест, проталкивая струг против слабого течения протоки.

Сырость и августовская прель облепили плывущих. Прохлада прибила тучи мошки и слабеющего комара. В иных местах веяло холодом от не стаявшего за лето, черного, покрытого желтым листом снега.

Знакомыми местами Иван вел лодку, пока не поднялось солнце. Он не спешил, стрелял уток и гусей, густо плававших по протокам. И вдруг понял, что сбился с пути: не было ни засечек, ни знакомых примет. Не показывая виду, он повел стружок по солнцу, на восход. Балаганцы и Угрюм озабоченности передовщика не понимали и во всем полагались на него.

В этих местах, на равнине между Обью и Енисеем, случалось, блудили и родившиеся здесь остяки. Среди промышленных людей бытовало много сказов про проделки болотной нечисти. Иван перекрестился и плюнул за корму. Слава богу, светило солнце, и закружить их было трудно.

Издавна приметил он сам и от других слышал, что, блуждая по тайге, в лешачьих местах разные ватажки, случается, идут одним путем. Вот и теперь, высматривая среди зарослей, то узнавал приметы мест, где приходилось уже бывать, то сбивался. Вдруг почуял запах дыма и вывел стружок к шаманскому островку с медвежьей шкурой на жердине.

Давненько он вывозил отсюда стрельцов. А вот ведь будто ничего не переменялось: та же шкура, тот же балаган и костер. Тот же шаман сидит на корточках возле дымокура. Черное бугристое лицо, та же грива белых как снег волос лежала по плечам.

– Вечный, что ли? – чертыхнулся Иван.

Лодка ткнулась в берег. Угрюм резво и весело выскочил на сушу. Неохотно поднялись и сошли на берег хмурые ясыри, молчавшие всю дорогу. Поднялся с кормы Иван.

– Ну что, пришел? – по-русски прошамкал шаман. Можно было понять, что он ждал Ивана.

Помнилось, старик прежде был беззубым. Теперь бросился в глаза желтый пенек непомерно длинного зуба, торчавшего из запавших губ.

– Пришел! – по-кетски ответил Похабов, не понимая, узнал ли шаман его или все русские были для него на одно лицо. – Помнишь меня? – щелкнул пряжкой шебалташа, снял опояску, бросил старику на колени, как и в прошлый раз.

Шаман принял ее, не отбросил. Долго разглядывал золотые бляхи. Соединял и разъединял их. Опять заложил между ладоней, закрыл глаза.

Угрюм, поглядывая на старика, развел костер у воды и стал щипать набитую птицу. Князец и его родственник молча присели у дымокура. Шаман открыл глаза. Взглянул на князца пристально. Поднял руки. В одной ладони тускло блестела бляха с мертвой головой косатого степняка, в другой – остроголового бородача.

В узких глазах Бояркана дрогнули зрачки. Косатый молодец впился черными глазами в золотые поделки. Шаман самодовольно осклабился, показав пенек длинного желтого зуба во всю его длину.

– Вот и встретились! – прошамкал. – Камлать надо. Хочу спросить духов, как первородный бог сплел ваши судьбы в этой жизни. – Помолчав, деловито предупредил: – Бесплатно камлать не буду!

Иван слегка растерялся от соблазна узнать судьбу, размахисто перекрестился, опасаясь осквернения колдунами и ворожеями, вызывающими души мертвых. Но разбирало житейское любопытство: отчего привязалась к нему эта пряжка? Не берег – она не терялась, ее не крали, золото, а не покупали, не брали в заклад. Теперь объявился покойник, отлитый на ней. Лукавое оправдание вертелось в его голове: для братьев нет греха узнать, что скажет шаман, а если он что-то подслушает, то не по своей вине.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.